

10.335

1960

საქართველოს  
ბიბლიოთეკა

9

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГРУЗИЯ

1960

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
и ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

О Р Г А Н  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

Год издания четвертый

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
АКАКИЯ ЦЕРЕТЕЛИ

СИМОН ЧИКОВАНИ. Акакий Церетели . . . . .	3
ИЗ ПОЭЗИИ АКАКИЯ ЦЕРЕТЕЛИ . . . . .	12
МАМИЯ АСАТИАНИ. День без поэзии. . . . .	
Рассказ . . . . .	15

РОСТОМ БЕЖАНИШВИЛИ. Хроника одной деревни. Продолжение . . . . .	25
---	----

### ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ВАСИЛИЙ БАРНОВ. Померкший ореол. Главы из романа . . . . .	48
---	----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. Об аргу- ментах истины . . . . .	80
--	----

ЛАВРОСИЙ КАЛАНДАДЗЕ. Реплика на реплику . . . . .	87
--	----

НАФИ ДУРАСОВЫ. Бесспорное в споре. . . . .	89
ОТ РЕДАКЦИИ . . . . .	91

### СРЕДИ КНИГ

С. ЧХАРАБИШВИЛИ — «Очерки по исто- рии грузинской общественной мысли» . . . . .	93
--	----

9  
СЕНТЯБРЬ  
1960

**Редактор К. ЛОРДКИПАНИДЗЕ**

**Редакционная коллегия:**

**Э. АНАНИАШВИЛИ, М. ЗАВЕРИН (ответственный секретарь),  
М. ЗЛАТКИН, А. КУЗЬМИЧЕВ, А. КУТЕЛИЯ,  
В. МАЧАВАРИАНИ, Э. ФЕЙГИН, Д. ШЕНГЕЛАЯ.**

---

**Адрес редакции: Тбилиси, ул. Махарадзе, 14, тел. 3-87-88.**



шибочным показателем неподдельно национального характера поэзии Акакия? Как подлинный народный певец, он избрал поэтическую песнь и поэтическую проповедь главной целью своей жизни и превратил труд поэта в поистине народное дело. Акакий и поэзия, Акакий и стихотворство — в представлении народа стали почти синонимами. Через всю свою долгую творческую жизнь пронес он славу народного поэта и певца родной страны.

Лирический голос Акакия Церетели от края до края пронесся по всей Грузии, и благозвучие его лучших стихов покорило слух нашего народа, принеся поэту имя «Соловья Грузии». Но самого Акакия слава сладкозвучного соловья отнюдь не удовлетворяла — разве что в молодости автору «Тайного послания» льстило это лестное и любовное прозвище, но с годами в нем все больше крепло сознание долга перед родиной, его все больше увлекал образ поэта — народного проповедника или пророка. Однако это отнюдь не было религиозным умонастроением — оно исходило все из той же народной фантазии: певцу Амирани мечталось проникнуть в глубь народной жизни, посвятить все свои силы возрождению родины, прозреть народную мечту и утвердить в сознании народа непоколебимую веру в будущее. Это была форма поэтической жизни, продиктованной высоким патриотическим сознанием. И действительно: представительный, статный, обаятельный, красноречивый поэт с неповторимой простотой и предельной искренностью говорил о будущем народа и о раскованном Амиране-Прометее. Где бы он ни выступал — в Кахетии, Рача-Лечхуми, Кутаиси, — всюду он подчеркивал, что герой неизбежно родится в недрах народа. Государственные мужи, действовавшие в историческом прошлом Грузии, и искони драматическая судьба грузинского народа давали поэту право думать о грядущем народном герое, который разорвет цепи, сковывающие родину. Себя же он считал предтечей того желанного расцвета, который озарит в будущем горы и доли освобожденной отчизны.

Мечта о будущем родины наложила особый стечеток на форму патриотического цикла стихотворений Акакия Церетели. Поэт придавал некоторым из этих стихов оттенок песнопений, а многие из них внешне сблизил с молитвой, которая представляла перед слушателями как исповедь, произнесенная в храме святого отечества. Молитва и звучание чанги (лиры) были для Акакия Церетели родственными силами, даже своего рода близнецами, и поэзия была своеобразным продолжением молитвы. Он так и писал:

Молитва и лира певца —

Два мира, две силы родные,  
Вы схожи, как два близнеца,  
Рожденные той же стихией.

В стихах поэта во множестве рассеяны художественные образы, символы, притчи и крылатые слова, взятые из Ветхого и Нового завета, которые он изучал еще в детстве. Образы, рожденные в недрах духовной литературы, поэт воскресил и в бурные дни революции 1905 года, когда он вдохновенно и восторженно приветствовал рабочий класс, восставший на борьбу с самодержавием. Он сравнивал себя с библейским Симеоном, воспринявшим новорожденного Христа, и сам с радостью и благоговением встретил явление народной революции. Подобно новому Томасу Мюнцеру, он по-своему перевоплощал образы Библии и провозглашал революционные идеи, облаченные в некоторых стихах в одеяния христианской мифологии. Религиозные символы и сказания ему нужны были лишь как внешняя оболочка стиха, передовое же содержание его поэзии утверждало в народе дух борьбы за лучшее будущее. «В иконостасе мироздания отчизны образ всех милей, и незаконно ли желанье пылать и таять перед ней?» — провозглашал он и впрямь молился перед образом своей обожествленной родины.

Если поэтическая фантазия Акакия Церетели находила пищу в Ветхом и Новом завете, то это отчасти объясняется влиянием поэзии Гурамишвили, а отчасти и тем, что Церетели, так же, как и Гейне, высоко ценил художественные достоинства «Библии». К тому же присущая ей интонация была удобна для поэтической проповеди Акакия Церетели.

Максим Горький утверждал, что в русской литературе подлинная народность появилась вместе с пушкинской няней Ариной Родионовной. Пожалуй, рождение народности так же произошло и в грузинской поэзии XIX века. Колыбельная кормилицы-крестьянки была первой народной песней, запавшей в душу маленького Акакия и подготовившей почву для всеобъемлющей народности творчества будущего поэта. Автор «Имеретинской колыбельной» с детства сроднился с духовным миром крестьянства, по-своему разделил его радость и горе, и как раз в этом постижении жизни деревенских тружеников — корни его будущей эстетической программы. Горячо любимая кормилица привила ему интерес и любовь к народной поэзии, к народным песням и национальным инструментам. Акакий Церетели с детства же полюбил и сделал вечными спутниками своей поэзии ствири, чонгури, саламури, буки, бубен, далдапи и чанги.

«Сызмалства пристрастившись к народным мелодиям, он развивал свой поэтический слух как бы в лад с народными песнями и звуками народных инструментов. Чонгури для него заключала и тайное-тайных народа и благородство народных чаяний. Народная поэзия стала неиссякаемым источником его поэтического вдохновения, а чонгури сохраняло для него «то вздох, то рыданье навзрыд» родного края, звук, который «о былом говорит». Эти слова Бараташвили автор «Рассвета» воспринял, как завещание себе. Но если в Бараташвили звуки чонгури пробуждали думы о прошлом, чонгури Акакия Церетели служила преимущественно будущему родины и укрепляла надежду в сердце поэта, являясь как бы залогом его бессмертия:

О лира, о лира безумная,  
Ты отзвук прибора морского,  
Твое бушевание шумное  
Услышать мне хочется снова.

Лишь стоит в полет нам отправиться,  
Мы край пролетаем за краем.  
Смерть, верно, за мною не явится  
В места, куда мы залетаем.

Многие лирические стихи Акакия Церетели словно созданы для песни и как бы подразумевают музыкальное сопровождение. Годы, проведенные в деревне с кормилицей, вдохновили поэта на создание подобных поэтических напевов, и его шедевр — «Имеретинская колыбельная» имела своей почвой тяжелую крестьянскую долю. Ну а его «Трудовая песня», «Песня жатвы», «Труженикам» и другие стихи прямо изображали жизнь трудового народа и выражали его чаяния. В этих стихах автор как бы скрывается, и вместо него мы видим жнеца, сеятеля, пахаря, мать, склоненную над колыбелью, или воина, отдыхающего на поле боя, — лирический герой предстает перед читателем в разных обликах. Подобно тени, сопровождающей поэзию Акакия Церетели — сказитель или народный певец, и кажется, что именно они соединяют строки стихотворения с душой народа. Акакию Церетели так же, как и Тарасу Шевченко, народный певец представляется обязательно играющим на каком-нибудь музыкальном инструменте. Мы уже говорили о корнях этой образности, восходящих к детским впечатлениям поэта.

Известно, что Давид Гурамишвили первый приблизил письменную поэзию к народной речи и поэтическим формам фольклора. Демократическая окраска и музыкальность поэзии Гурамишвили не могли не привлечь Акакия Церетели. Он сам внутренне стремился к такого рода

музыкальности, и его чанги зазвучала в лад с гурамишвилевской лирой. Поэтическая натура Давида Гурамишвили безусловно была родственна Акакию Церетели, который увидел в нем своего предтечу.

В отличие от Николоза Бараташвили и Ильи Чавчавадзе, которые полностью отбросили восточные поэтические размеры и формы (мухамбази, маджамы, баяти и т. п.), — Акакий нередко обращался к ним. Уделяя много внимания и чисто внешнему блеску стихов, он сумел преодолеть их внешнюю экзотичность, благодаря значительности и глубине темы и содержания произведений.

Акакий Церетели не был «антологическим» поэтом, он писал очень много и считал необходимым писать много. Несмотря на это, его стихотворения отмечены изысканным вкусом, возвышенной простотой (не говоря уже о четкой идейной направленности). Каждая его поэтическая фраза отличается поразительной свободой и естественностью. Ритмы и интонации как будто очень знакомы и обыкновенны, и в то же самое время новы и кажутся впервые услышанными. Акакий Церетели принес в грузинскую поэзию свободное дыхание и освободил поэтическую фразу от всякой скованности. Он научил летать строки грузинского стиха. Не было в Грузии после Руставели и Гурамишвили ни одного поэта, строки которого в такой степени распространились бы в народе и утвердились в его разговорной речи. Поэзия Акакия Церетели приняла решающее участие в формировании не только новой литературной, но и новой разговорной речи грузинского народа. Он с чарующей непосредственностью создавал пленительно-мелодические стихи. Лучшие из них, казалось, были сочинены не человеком, а рождены непосредственно природой. Казалось, народ подсказал их поэту, который повторил их вслед за ним с артистическим вдохновением.

Если Николоз Бараташвили и Илья Чавчавадзе были поэтами интонационными, Акакий Церетели больше был поэтом мелодическим. В лирическом творчестве автора «Сулико» мы редко увидим описания. Его лирика — это скорее поэтические песнопения, нежели поэтические картины; ему внутренне близко было всегда мелодическое начало; монументальность он вообще считал чуждой лирической поэзии. Лишь в «Песне-песней» создал он монументальный лирический пейзаж и доказал тем самым многообразие и разносторонность своего поэтического таланта. Но в основном он все же склонялся к благородной легкости и филигранности народной стихотворной формы.

Шедеврами лирики Акакия Церетели

можно считать такие стихотворения, как «Тайное послание», «Свирель», «Сулико», «У могилы Ал. Чавчавадзе», «То, что не пылает», «Песнь-песней», «Большой поэт», «Кутаиси», «Волнуйся, море», «Кинжал», «Народная песня» и, наконец, одну из вершин всей многовековой грузинской поэзии — «Рассвет».

Стихи эти, исторгнутые из души поэта, стали песнями народной души. Поэт негаснущим пламенем горел перед образом своей родной страны, так как знал — «То, что не пылает и не светит, то чадит без света и тепла». Стихи его гимнами и песнопениями звучали в народе, только эти гимны были обращены не к богу, а к родной стране.

Страна, где небо бирюзово,  
Где изумрудом блещет дол,  
Мой край родной! К тебе я снова  
Больной и трепетный пришел!

Не мог я вынести разлуки,  
Покинув милые края.  
Душа моя рвалась от муки,  
И вот к тебе вернулся я.

Родное солнце с небосвода  
Мне улыбнулось в тот же миг.  
И засияла вся природа  
Лучами чистых звезд твоих.

И снова в сердце ликованье,  
И я печали превозмог.  
Ты в час печальный увяданья  
Воспрянуть духом мне помог.

Страна, где небо бирюзово,  
Где изумрудом блещет луг,  
Я за тебя погибнуть снова  
Готов в годину тяжких мук.

Не отрекайся же от сына,  
Укрой одеждою твоей!  
Не откажи мольбе грузина,  
Когда умру на склоне дней:

Похорони меня, немого,  
В родной земле, среди мирных сел,  
В стране, где небо бирюзово,  
Где изумрудом блещет дол!

Родной край представлялся поэту во многих ликах: то иконой, то врачом-недуга; иногда родина напоминала ему прикованного Амирани, а иногда — заточенную в Каджетской крепости красавицу Нестан-Дареджан. Часто и сегодня нелегко бывает определить, где у Акакия Церетели патриотические стихи, а где — чисто любовная лирика. Читателю порой трудно догадаться, кто же в конце концов Цицинатела («Светлячок») — возлюбленная поэта или поработанная родина; могила Сулико — это могила потерянной любимой или душа

истерзанного грузинского народа; трудолюбивая пчела — это маленькая Грузия или сам поэт, самозабвенно служащий родине? Многоликой предстает Грузия в поэтическом мире Акакия Церетели. Все эти образы выражают определенные черты родного края, они говорят о мужестве, красоте и нравственной чистоте народа. Если читатель принимает за патриотическую лирику чисто любовное стихотворение поэта, то и в этом есть своеобразная истина, и поэтическая правда этим ничуть не нарушается.

Можно сказать, что Акакий Церетели — поэт одной темы, и этой биографически пережитой и выстраданной темой является для него любовь к родине: перед образом родины, во имя любви к ней, поэт готов гореть, засветив себя свечой. Акакий Церетели ищет и находит символ, который наиболее точно и полно передает живущую в его сердце нежную любовь и страсть к своей отчизне. Мы знаем, что Александр Блок в одном из самых сильных своих патриотических стихотворений сравнил свою любовь к родине с супружеской любовью:

О Русь моя! Жена моя! До боли  
Нам ясен долгий путь;  
Наш путь...

Этими словами поэт хотел сказать, что на его жизненном пути Россия является самым близким, неразлучным и до самозабвения любимым спутником, что вместе с ней он прошел весь ее долгий исторический путь. Автор «Рассвета» также самозабвенно любил свою Грузию, которую поэтично называл «заточенной в крепости красавицей Нестан-Дареджан». Патриотическую поэзию ввел он в домашний, бытовой обиход народа, войдя своими стихами в повседневную жизнь своей страны. Казалось, он первый услышал у дома сельского труженика щебет ласточки и он же первый увидел в сумерках мелькающего светлячка, заговорил с трудолюбивой пчелой, а козу назвал кормилицей детишек; он первый учуял в родной природе и дыхание весны, и летнюю жару, и осенний аромат спелых фруктов; казалось, только он подслушал песни жнецов, идущих в поле, или пастухов, потянувшихся с гор, глубоко проник в чаяния и мечты землепашцев, вместе с крестьянами трудился и веселился; казалось, даже на соколиную охоту он шел вместе с ними, захватив своих гончих. Как полноправную радостную тему ввел он в поэзию конные соревнования и другие грузинские народные игры и дал свою поэтическую оценку почти всем грузинским народным обычаям и нравам. Одним словом, Акакий Церетели утвердил в поэзии жизнь и быт народа, преодолев все условности и освободив поэзию от любых схем. Он был, если можно так сказать, поэтом мно-

венных и стремительных реагирований на события повседневной жизни.

Акакий Церетели в XIX веке, вместе с Ильей Чавчавадзе, духовно объединил и сплотил весь наш народ и рисовал в своей поэзии образ будущей объединенной и сильной родины. С одинаковой любовью воспевал он Тбилиси, Гори и Кутаиси, монастырь в Шуамта, крепость «Моди-нахе», хобские берега, горы Сванетии, побережье Абхазии, памятники Месхети и поля Гурии. Различные уголки Грузии были для поэта как разные, но созвучные струны одного музыкального инструмента, всюду он находил преданных сынов родины и боролся за счастье всего своего народа. Акакий Церетели привил народу твердую веру в то, что его идеал, его заветная мечта — «не умерла... лишь спит», он же вселил в него незыблемую надежду на то, что настанет время, когда Амирани разорвет цепи, «сбросит он страданья бремя, встретит радости приход».

Героические образы в лирике и поэтическом эпосе Акакия Церетели составляют два ряда. Первый ряд представлен подлинными историческими деятелями, во втором же ряду мы видим преимущественно образы из поэмы Руставели. Первый ряд: Вахтанг Горгасал, Торнике Эристави, царица Тамар, Цотне Дадиани, Георгий Саакадзе, царица Кетеван, Ираклий II, а также воспринимавшийся поэтом как символ всей Грузии мифологический герой, грузинский Прометей — Амирани.

Рисуя образы исторических деятелей, Акакий Церетели ставил перед собой задачу активного воздействия на своих современников, стремился вдохнуть в них дух героических деяний. Для осуществления этой задачи поэт и своим историческим поэмам придал особую направленность: он рисовал в них не пору процветания и исторического подъема Грузии в эпоху Давида-Строителя или царицы Тамар, а главным образом периоды национального упадка и государственного распада. Поэта больше привлекали героические страницы истории бедствующей Грузии. Именно на таком историческом фоне разворачиваются события в «Баграте Великом», «Тамар Цбиери», «Нателе», «Патара Кахи» и «Рассказе Кикола». В драматических событиях прошлого, описанных в названных выше произведениях, Акакий Церетели видел нечто созвучное современности, судьбе поработенной царским самодержавием родины. В прошлом лучшие сыны грузинского народа показали пример невиданного героизма и поразительной выдержки, эти герои знали, что «муж в беде стоять обязан неприступною стеной», поэтому их жизнь и их

подвиги должны были служить, по мнению поэта, образцом для подражания со стороны его современников. Выдающиеся исторические деятели прошлого были призваны расчистить путь и показать дорогу новой Грузии, должны были научить новые поколения грузин служению родине и самопожертвованию во имя ее.

Так сливались в поэзии Акакия Церетели Грузия прошлого и настоящего. Поэт пел колыбельную будущим героям и пророчески провозглашал неизбежность прихода новых героев. Он воспевал героические видения прошлого и предвещал грядущее счастье новой Грузии. Поэт часто посвящал свои стихи великим грузинским матерям, героическим грузинкам, воспевал Тамар и мученицу Кетеван. Акакия Церетели пленяла их государственная мудрость, прозорливость и неиссякаемая воля к борьбе.

И подлинные исторические деятели и герои, взятые из поэмы Руставели, одинаково живут в представлении Акакия, как некая реальность. Персонажи, созданные поэтической фантазией, такие же, по его мнению, образцы для подражания, как и личности исторические, он с одинаковым восторгом обращается к царице Тамар и к руставелевской Нестандареджан. Для него не существовало границы между исторической действительностью и поэтической реальностью руставелевских образов — обоим рядам была присуща, в его представлении, равная историческая достоверность. Это объясняется и тем, что героев «Витязя в тигровой шкуре» поэт считал точными следами грузинских характеров. Для него художественный мир «Витязя в тигровой шкуре» был гораздо более достоверным и характерным свидетельством исторической жизни народа, чем данные любых летописей. Поэма Руставели для него была более верным отражением грузинской действительности и грузинского характера, нежели образы и судьбы людей, описанных в исторических хрониках. Акакий Церетели, казалось, сожалел, что в поэме нет непосредственного изображения Грузии, да и герои ее внешне выглядят чужеземцами, и он старался снять этот налет с поэмы и вернуть мир образов Руставели к родной почве, вернее, доказать наличие этой почвы, грузинское происхождение этого мира. К этому была направлена и попытка вычитать в поэме общие типические свойства грузинского характера, а отнюдь не этнографические признаки, как это могло показаться с первого взгляда. Руставели для Акакия Церетели, как и для грузинского народа в целом — национальный поэт, который, чеканя грузинские характеры, провозглашал общечеловеческие гуманистические идеи, ибо грузинский характер, воссозданный гением великого мастера, не мог



не обогатить и не украсить общечеловеческую духовную сокровищницу. Эта концепция Акакия Церетели заслуживает чрезвычайного внимания, а в свое время она имела и большое национальное значение. Точку зрения, высказанную в его известных лекциях о «Витязе в тигровой шкуре», поэт последовательно проводил и в своих художественных творениях, часто обращаясь к образам Автандила, Тариэла, Придона, Нестан-Дареджан, Тинатин и Асмат, как к исконным и идеальным грузинским характерам. Герои Руставели были незаменимыми помощниками поэта в его борьбе за возрождение родины.

Акакий Церетели рисовал картины исторического прошлого с удивительной реалистической достоверностью. Словно он сам когда-то был свидетелем рассказанного им исторического события и теперь лишь делится с читателем своими воспоминаниями. В отличие от Важа Пшавела, он редко обращался к собственно бытовым картинам народной жизни или к общеполитическим, общемо-ральным проблемам. Лишь в поэме «Воспитатель» решил он опереться не на исторический материал и выступил с моральной проповедью в рамках блестящей поэтической новеллы, композиция которой может похвастаться завершенностью и строгостью с композицией новелл Мериме.

Акакий Церетели был блестящим знатоком грузинской истории и большим ценителем грузинских летописей. Большинство его поэм построено на материале летописей «Картлис цховреба», грузинских хроник, агиографической литературы и т. д. Автора «Торнике Эристави», в отличие от Ильи Чавчавадзе, очень и очень влекло к стихам, восхвалявшим исторических героев. С исключительным художественным чутьем проникал он в самую суть скупых сведений, оставленных летописцами и с не менее удивительным художественным проникновением и остротой видения воссоздавал картины прошлого и приближал это прошлое, делая его близким и доступным для современника. Но драматический элемент в исторических поэмах и стихотворениях Акакия Церетели основан не на перипетиях личной жизни героев или моральных и социальных конфликтах, а преимущественно на борьбе с внешними врагами. У героев названных поэм почти нет личной жизни, и двигательной силой сюжета является борьба грузинского народа с превратностями своей исторической судьбы.

Как мы уже отмечали, в этих поэмах воссозданы многие незабываемые образы, кистью блестящего баталиста нарисованы неизгладимо впечатляющие сцены, созданы замечательные пейзажи. Но

Акакий Церетели все же в первую очередь лирик — действующие лица его поэм (кроме героев «Воспитателя») даны в некоей фресковой манере, повествовательная сторона в поэмах его отеснена лирическими отступлениями. Внутренняя динамика поэм достигается не ходом повествования и сюжетным развитием, а лирическим сказом и вкрапленными в эпическую ткань лирическими стихотворениями-песнями. В названных поэмах рассыпаны многие лирические алмазы Акакия Церетели, например, такие широкоизвестные его стихи, как «Я струны на чонгури», «Амирани», «Сон», «Я слышал, что тростник», «Напрасно жду, нигде их не видать» и многие другие. Эти лирические отрывки придают эпическим творениям Акакия Церетели особую силу. Эпический мир, созданный поэтом-лириком, окрашен в романтические краски, но само содержание поэм часто включает элементы дидактики и описания.

Хотя Акакий Церетели рисовал исторических деятелей Грузии в романтическом ореоле, но сама его романтическая душа все же была целиком устремлена к будущему. Прошлое, настоящее и грядущее родной страны, как «сладость», «горечь» и «мечта» владели сердцем поэта. Как мы уже сказали, автор «Рассвета» с надеждой и упованием смотрел на будущее и верил в рождение новых героев.

Поэт верил, что будущее родины должен выковать народ, люди труда, и именно они сообщали ему неистощимую силу. В исторических произведениях (в поэзии и в прозе) Акакий Церетели выразителями лучших свойств грузинского народа вывел представителей низов — Баши-Ачуки, Киколу, Гелу и Циру, в лирике же поэта вдохновенно зазвучали дорогие его сердцу голоса пролетария и сельского труженика, жнеца и работающей матери-грузинки, воина-крестьянина и, вообще, полного жизни, нестигаемого, неунывающего человека — труженика. Именно с точки зрения этих людей лепил он образ будущего.

С одинаковым пафосом совмещались в национально-освободительной идее Акакия Церетели патриотическое чувство и задача освобождения труда.

Я беру мою чонгури,  
Чтобы правде послужила,  
Чтоб она, встречая бури,  
Мысль на бой вооружила;

Чтобы струны стройно пели,  
Многозвучной жизни вторя,  
Откликаюсь на веселье  
И спеша на голос горя.

Чтобы ждали песню-гостью  
В мир борьбы и в мир печали;  
Чтобы песне — двухголосью —  
Очень многие внимали;

Чтобы песня осушила  
Слезы тысяч угнетенных,  
Угнетателей сразила  
Целой тучей стрел каленых.

Любовь Акакия Церетели к труженникам-крестьянам является, вместе с тем, основой его патриотического чувства. Безграничную преданность автора «Рассвета» родине можно смело назвать народным патриотизмом. Таким своим общественным устремлением поэзия Акакия Церетели перекликается с духовной жизнью советского народа и даже становится его идейным спутником.

Не только не удивительно, но и вполне закономерно, что Акакий Церетели в 1905 году сразу же ощутил духовную близость с революционным рабочим классом и восставшим крестьянством. Убеленный сединой поэт увидел в этом народном движении и свою заслугу и с бурной радостью приветствовал восставших. Революционное движение полностью оправдывало ту негасимую веру в народ, которая всегда жила в сердце поэта. Акакий Церетели оказался очевидцем и свидетелем давно желанного всенародного подъема. Так родились его новые стихи и песни, вдохновленные революцией.

Любая патриотическая или социальная тема только тогда становится в поэзии эмоционально впечатляющей и способной покорить сердце, когда она биографически пережита поэтом и исподволь подготовлена в его духовной жизни. В сердце Акакия Церетели с первых же шагов его сознательной жизни жила вера в необходимость и неизбежность революционного взрыва. «Весна», «Труженникам», «Колыбельная» и многие другие ранние стихи поэта будили в народе надежду и призывали его к грядущей борьбе. Революция 1905 года совпала со старостью автора «Кинжала», но, как мы знаем, поэт не остался в стороне от народного движения и создал по-настоящему боевые стихотворения — «Тквени чириме», «Гурийская колыбельная», «Долой», «Моя вера», «Веона», «Мечта» и другие. Старейший поэт Грузии первым воссоздал на грузинском языке «Интернационал», и грузинский вариант этого революционного гимна распевался на баррикадах. Восторженная любовь к народу и чувство духовного родства с ним до конца жили в сердце великого грузинского поэта. В революции же, Акакий Церетели увидел осуществление своей давнишней мечты, свершение своего пророчества.

Так наступило, о чем мы мечтали,  
К радости новой подьемлю я вежды.  
Как Симеона когда-то в печали,  
Старость мою озарила надежда.

Слава народу! Гневные реки  
Слились в поток, чтобы смыть

Чтобы восторжествовали навеки  
Равенство, братство, свобода, согласие!

Поэтическая натура Акакия Церетели была поразительно щедрой. Сокровищница его души была настолько богата, что поэту не пришлось, так сказать, «экономить» запасы своих жизненных впечатлений. На протяжении пятидесятилетней творческой деятельности сокровищница эта не оскудевала, вдохновение поэта не утрачивало юношеской силы и творческие способности не изменяли ему до гробовой доски. Акакия Церетели нельзя считать автором только одной, одним лирическим настроением проникнутой книги. Свои лирические шедевры он создавал не только в молодую пору — таланту его, после первого мощного взлета, не понадобилось передышки и покоя. Словом, Акакий Церетели не был выразителем поэтического мира только одного поколения. Он был тайновидцем души и властителем дум нескольких поколений. До глубокой старости сохраняя силу и чистоту своего лирического голоса, он ни разу не испытал духовной усталости. Его чудесные стихотворения — песни «Тайное посланье», «Свирель», «Шел в гору я», «Ты горька, моя жизнь» и «Цицинатела», написанные до тридцатилетнего возраста, полны юношеского тепла, но лирический голос поэта зазвучал еще сильнее и проявился еще совершеннее, когда им уже был пройден полувековой путь. Его лирические шедевры — «Рассвет», «Больной поэт», «Сулико», «Народная песня», «То, что не пылает и не светит», «Пока я молод был», «Амирани» и многие другие созданы поэтом, переступившим за порог полувекового возраста. Вершина же лирики Акакия Церетели «Песнь-песней» и одно из самых волнующих и полных внутреннего драматизма его стихотворений — «Еврейский плач с причитаниями в Грузии» созданы «Соловьем Грузии» тогда, когда ему было уже за шестьдесят. Точно так же, как трудно поверить, что двадцатилетний Николоз Бараташвили создал потрясающего размаха монументальный лирический шедевр «Мерани», так же удивительно, что шестидесятилетний певец смог открыть новую неувядающую лирическую страницу во всей грузинской поэзии своим монументальным творением «Песнь-песней»:

Кто дал прозреть мне? Что превратило  
Жизнь предо мною в сказку и сон?  
Кем над уделом твари бескрылой  
К высшим пределам я вознесен?

Это все ты, любовь. Ты причина,  
Это тобою совершено, —

Небо и землю всю воедино  
Соединяющее звено!

Ты, на кого клеветают жестоко,  
Именем чьим зовут, что хотят:  
Скотоподобье, пошлость порока,  
Образ животный, грязь и разврат.

Всех постигало косноязычье,  
Брался лишь кто тебя воспевать.  
Как описать твоей силы величье,  
Свыше дарованная благодать?

Но, как кончины предчувствие мечет  
Лебедя с песней за облака,  
Пусть этот стих мой увековечит,  
Царственная, тебя на века.

Сон мой, мечта моя! Славословия  
Сами теснятся мне на уста,  
Ты, величаемая любовью,  
Все увенчавшая чистота!

Поэтический голос Акакия Церетели никогда не знал старости, так же как не знает старости душа народа. С возрастом вдохновение поэта лишь мужало и крепло, и крылья его мечты обретали новую мощь. «Не страшна моей душе седина», — заявлял поэт, и это было не просто метафорой, а точнейшей характеристикой его поэтической природы. Девственность поэтической души и молодость характера — все это сильнее и полнее сказались у Акакия Церетели в старости, чем в юности. Уже стариком говорил он:

Я и сегодня тобой очарован,  
Я и сегодня тобою пленен,  
Будто лишь нынче мне юность дарована,  
Старость — вчера промелькнула, как сон.

Он и впрямь не мыслил лирическую песню без внутреннего огня и юношеского жара и неизбежной своей физической старости как бы противопоставил молодость души, приобщив этот вечно юный дух к опыту и мудрости, приобретенным за прожитые годы.

Если Акакий Церетели, с одной стороны, уверенно восклицал, что «не тронута сердце его сединой» и что душой он сейчас моложе, чем в юности, с другой стороны, он порой чрезмерно скорбел о своей старости и об этом часто и очень взволнованно беседовал со своей музой. Он знал, что «седина сурова», и боялся, сможет ли любовь исцелить «седину и морщины», да и «душу с печатью этого проклятья». Акакий Церетели рано начал говорить в своей поэзии о старости и еще далеко не стариком утвердил в читателях представление о себе как о старце. Он старался вызвать такое впечатление, будто автор «Седины» всегда был убелен сединами, чуть ли не с самой юности. И действительно, в читательском сознании Акакий Церетели всегда жил

как седой проповедник с гордыми чертами пророка. Акакий Церетели знал, что в представлении народа старость была почти синонимом мудрости. Песня, украшенная ореолом старости, имела бы большую дидактическую силу. Таким образом, старость была своего рода панцирем для его молодой души.

Таким и вошел он в сознание народа — тоже «поседелый, как сказанье, и, как песня, молодой».

На лирических стихах, написанных поэтом в старости, прожитые им годы оставили заметный и своеобразный след. В этой поздней исповеди поэта запечатлены не только непосредственные впечатления текущей жизни — в ней мы видим и более глубокое осмысление чувств, рожденных за прошедшие годы, вершинные поэтические обобщения. Мудрость жизненного опыта и большая душевная чистота соединены здесь с юношеским воодушевлением. Даже чисто любовные стихи обогащены этим опытом и подняты на новую высоту. В этих стихах больше чистоты и утонченности, в них острее поэтическое видение. Тема любовной лирики доведена здесь до философского звучания и пронизана новым светом. Не случайно, что из грузинской любовной лирики Акакий Церетели выделял «Сольвья и розу» Николоза Бараташвили, где любовь связывается с сущностью бытия и животворная сила этого чувства осмысливается философски. И для Акакия Церетели любовь составляет подлинную основу счастья, и она же является залогом бессмертной молодости души. Шестидесятилетний поэт так взывает к любви: «О любовь, рассеяй потемки эти, озари, сожги меня дотла!» И он готов предпочесть «даже самый краткий миг горенья» «целому столетию мглы и тленья без любви, без взлета, без огня». В «Песне-песней» любовь провозглашена основой внутренней гармонии мироздания, она — «небо и землю всю воедино соединяющее звено», и сам поэт с каким-то особым, божественным даром проникновения мог, подобно старому Гете или Тютчеву, вычитать в природе эту «тайну мир обнимающего родства». В поэтическом мире Акакия Церетели любовь проникает во все затаенные уголки бытия, она порождает пламя сердца и души и этим пламенем освещает жизнь и все ее дороги.

Пусть мой пламень недоступен зренью —  
Он горит, и я сумел понять,  
Как в страданье этого горенья  
Высшее блаженство обрести.

Поэзия Акакия Церетели всеми своими корнями связана с грузинской народной поэзией, с традициями грузинской литературы, с жизнью грузинского народа и со всей его многовековой культурой.

Вместе с тем Акакий Церетели с благоговением называл имена Тараса Шевченко и Адама Мицкевича, которых он искренне любил и патриотизм которых ценил высоко и считал образцовым. Акакий Церетели был сознательным строителем моста дружбы и духовного единения с украинским и польским народами. Великой, умной и искренней любовью любил Акакий Церетели и русский народ, русскую поэзию. Эта любовь ярко выражена и даже поэтически декларирована в его замечательном стихотворении «Одиннадцатое сентября», в этом изумительном памятнике русско-грузинской дружбы, подлинном гимне братству, скрепленному кровью, пролитой грузинами на полях Крцаниси. Посвящал ли он

стихи Гоголю или беседовал о «Слове о полку Игореве» — всегда проявлял Акакий великое уважение к русской культуре и проповедовал необходимость исторической дружбы с Россией. Братскую руку протягивал поэт и передовым деятелям Армении и Азербайджана.

Акакий Церетели был подлинным кормчим дум и чаяний грузинского народа, а его поэзия — трепетным пульсом народной жизни. Он так любил свою родину, как только преданный своему семейному очагу отец может любить свой дом и своих домочадцев. Поэтому стал он тайновидцем народной души и неотделимой частью своей родины, соучастником ее большой судьбы и олицетворением ее немеркнувшей красоты.



## Из поэзии Акакия Церетели

### ЗАВЕЩАНИЕ

Перевод с грузинского Г. Маргвелашвили

Четыре доски гробовые,  
Простые четыре доски,  
Четыре носильщика — злые,  
Изрядно хмельные с тоски.  
И чтоб ни венков, ни надгробий,  
Ни блеска торжественных строк,  
Не хочется стать мне подобьем  
Героев моих же острот.  
Пусть справят в саду новоселье —  
Не будет там склочных жильцов.  
Лишь лето подбросит мне зелень,  
Лишь ветер заглянет в лицо.  
Лишь солнце прогреет могилу  
Снопам полдневных лучей,  
Да месяц прошепчет — мой милый,  
Ты с нами, ты больше ничей!  
А утром, как встарь, спозаранку,  
Сыграют мне зорьку скворцы,

И вступят с зарей в перебранку  
И смерть и ее мертвецы.  
А к вечеру снова певунья  
Над розой поднимет возню,  
И зову тому повинуюсь,  
Я тихо отчалою ко сну...  
Желаний моих вереницу  
Мне хочется так увенчать:  
На скорбном челе иверийца  
Увидеть иную печать.  
Мне бронзы и меди дороже,  
Отрадней почета и слав  
Беспечный разгул молодежи,  
Грузинский неистовый нрав.  
Так пусть у могильного входа,  
Ряды молодые сплотив,  
Восславят грузины свободу,  
Старинный мотив подхватив.

1894

### П Е С Н Я

Перевод с грузинского Е. Николаевской

Мне соловей сказал: поэты  
Твердят, что в розу я влюблен,  
Что потому я до рассвета  
Пою о ней, забыв про сон...  
Мол, потому душа пылает  
И льется песнь всю ночь подряд,

Что в розе цвет меня пленяет  
И опьяняет аромат...  
О недогадливость людская!  
Я розу потому пою,  
Что из нее жучков таскаю  
И росы утренние пью!

1881

## ЛЕБЕДЬ

Перевод с грузинского Г. Маргвелашвили



В предсмертном, гибельном порыве  
Творишь ты трепетную песнь.  
В ее бездонных переливах  
Вся жизнь твоя и гений весь.

И смех, и горькое рыданье,  
Сведенные в единый строй,  
И творческое созиданье,  
И разрушающий прибой.

Как необычно это пенье —  
Твой первый и последний крик!  
В нем небосвода отраженье,  
В нем преисподней мрачный лик.

Земных хоралов перебуды,  
И отзвук песни неземной...  
О, мне бы в дар такое чудо!  
О, смерть такая бы со мной!

1891

## МОЯ ЛЮБОВЬ

Перевод с грузинского Г. Маргвелашвили

Любишь — не любишь... Вольному воля,  
Сердцем твоим — не мне верховодить.  
Ты уж сама себе выберешь долю.  
Кто же он будет? Святой? Греховодник?

Где то ей вспыхнуть дано, где — заглохнуть,  
Страсти нежданной, ниспосланной свыше?  
Днесь одному поклоняешься богу,  
Завтра — другим уже идолом дышишь.

Мне не в диковину эта повадка  
Бабочки-ветренницы необыкновенной.  
С цветка на цветок, чтоб уютно и сладко  
Жилось, перепархиваешь мгновенно.

Но и цветы ведь встречаются разные!  
Сок их сладчайший таит в себе часто,  
Вместо живительной влаги лекарства,  
Яд нелюбви и недуг неприязни.

Бог тебе в помощь! Только уж если  
И ты набредешь на бутон вредоносный,  
Если иссякнет источник чудесный,  
Благоухающий, трепетный, росный, —

Вспомни меня хоть на миг, хоть когда-нибудь,  
Вспомни отвергнутого безумца,  
И слезы, накопленные годами,  
Щедрым потоком к тебе понесутся.

Слезы — не слезы, а мощь первородная,  
Сила воскресшая скованной страсти —  
Раны залечит и переворотом  
Грянет, сметет нелюбовь и ненастье.

Любишь — не любишь?.. Сгинь, наважденье!  
Я верю в любовь, в ее бытие.  
Я поклоняюсь ее возрождению,  
Я отвергаю погибель ее!

1886

### С О Н

Перевод с грузинского Б. Резникова

Один и тот же сон мне часто снится:  
Как сквозь густой предутренний туман,  
Святую Нину вижу я, царицу  
Тамар и мученицу Кетеван.

На лбу у Кетеван — венец терновый.  
В руке царицы — скипетр золотой.  
Суровый знак распятия Христова  
Святая Нина держит пред собой.

Они над Картли руки простирают,  
Глаза к шатру небесному воздев,  
Они втроем молитву возглашают,  
И сладостен их тройственный напев:

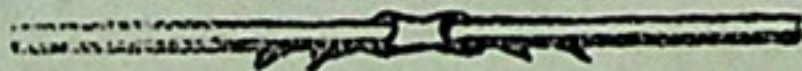
«Пречистая, ты видишь доли эти.  
Всевышний отдал их тебе в удел.  
Прости своей стране грехи столетий,  
Верни ей силы для великих дел!

Благослови ее по-матерински  
И перед Спасом сотвори свой крест,  
Чтоб сломленный судьбой народ грузинский  
К существованью новому воскрес.

Дай детям перенять отцов обычай,  
Пошли им цепи рабства сбросить с плеч.  
И, чтобы славилось твое величье,  
Язык грузинский помощи сберечь —

Правления Тамар язык старинный,  
Молений Кетеван язык святой,  
Язык высокий, на котором Нина  
Заветам твоего земного сына  
Народ учила, избранный тобой!»

1881





Мамия Асатиани

## День без поэзии

РАССКАЗ

Перевод с грузинского К. Гвритишвили

Рис Э. Мосева

Шоти из тонэ Силована Майсурадзе славились на весь город. Его лавка находилась в начале Серебряной улицы. Ранним утром ремесленники, спешившие перед работой поесть хаши, заходили к Силовану и, прихватив под мышкой румяные, только что вынутые из тонэ шоти, направлялись в хашную. Из дверей хашной на улицу вырывался аппетитный запах толченого чеснока, горячего хаши и свежее испеченного хлеба.

Шоти рачинца Силована обладали каким-то особенным ароматом. Горожане старались покупать хлеб только у него.

— Сегодня у нас к обеду был хлеб Силована, — хвастались мальчишки.

— Да, у этого благословенного та-

кая рука, словно на меду замешивает тесто, — говорили женщины.

— Его тесто особую силу имеет! — солидно басыли черноусые мужчины.

— Сам он крепкий парень, люди добрые, и хлеб у него особенный! — вторили им почтенные старики.

И вправду, Силован был на редкость крепкий, жилистый человек. Каждое утро с песней и улыбкой встречал он зарю. Еще до света у него была готова первая выпечка хлеба, а к восходу солнца вынималась из тонэ и вторая. Весь день проводил он за работой. Но никто не видел его нахмуренным или сердитым.

Пол в лавке Силована был земляной и в одном углу в специально вырытой яме виднелось запотевшее горлышко кувшина, полного черным, как



чернила, и сладким, как мед, рачинским вином. По утрам первый подрумяненный шоти, вынутый из раскаленного тонэ, Силован разламывал пополам и, протягивая половину первому покупателю, наполнял холодной хванчкарой два стакана. Хозяин и клиент чокались и запивали вином хрустящий нежный хлеб.

А потом, напевая «Кведрула разлилась широко», Силован приступал к делу.

Добрый и отзывчивый Силован среди живущих в Тбилиси рачинцев славился еще и как замечательный сазандарист.

— Разве кутеж похож на кутеж, если Силован не сидит за столом с сазандари<sup>1</sup> в руках? — говорили о нем друзья.

И действительно, Силован знал множество старинных песен и стихов, а порою сам слагал их тут же, за столом, и пел, аккомпанируя себе на сазандари. Голос у него был низкий, глубокий, теплый. В кругу молодых черноусых парней Силован запевал обычно песню об Арсене, среди молодых девушек на выданьи, хитро прищурившись, затягивал веселую:

«Невестка, невестка!  
Ау, госпожа свекровь!..»

Молодые женщины улыбались, многозначительно поглядывали на пожилых. Те делали вид, что песня их не касается и отворачивались от певца, скрывая улыбки. А когда Силован пел последние слова песенки:

«Боже, ты спаси меня  
От гнева свекрови...»;

тут уж ни пожилые, ни молодые не могли сдержаться — все дружно хохотали.

— Дай бог счастья твоей семье! — восклицали благодарные слушатели.

Когда у Силована родились близнецы — сын и дочка, радости супругов не было конца.

— Теперь уж мой род, как дерево, глубоко пустил корни, — сказал Силован. Два дня и две ночи кутил, а на третий окрестил детей — девочку нарекли Тамунией, мальчика — Симоном.

<sup>1</sup> Сазандари — музыкальный инструмент.

Силован долго не обзаводился семьей. В Кутаиси дела его шли плохо, не до женитьбы было, хоть и сильно нравилась ему дочка слесаря Михо. Решил Силован перебраться в Тбилиси. И вправду, ему повезло, года через два он кое-как накопил деньги, обзавелся крохотным домиком, и тогда уж послал свата к своей избраннице.

Три дня и три ночи в Кутаиси, у старого моста играли свадьбу Силована и Сидонии. А на четвертый день Силован увез молодую жену в Тбилиси.

Сидония тоже была мастерица петь, любила стихи. Много строк Акакия Церетели знала на память. Силован заслушивался ее песнями, особенно нравилась ему колыбельная, которой она убаюкивала детей.

— Пой, пой, моя щебетунья! Солнце нам светит, луна и звезды по ночам на нас смотрят, чего же грустить, — говорил он, бывало, жене. — Горе той семье, где не поются песни.

И дети их росли, учились и трудились с песней.

В один и тот же день родители повели Симона и Тамунию в школу. Отец научил мальчика петь песню об Арсене, а Тамуния с помощью матери выучила наизусть стихотворение Акакия Церетели «Сон». Дети пошли в отца — с колыбели не знали никаких болезней, как говорится, волос с головы не падал. И учились оба хорошо, с охотой.

— Жenuшка моя, мы с тобой должны благодарить небо и землю. Наши дети сумеют сами себе пробить дорогу в жизни, — говаривал Силован, глядя на сына и дочь.

Мать, встречая возвращавшихся из школы детей, тотчас переодевала их, умывала, усаживала обедать. После обеда Сидония обычно спрашивала:

— Ну, дети, чему вас сегодня учили в школе?

Тамуния и Симон читали матери стихи, показывали свои тетрадки.

Когда Симон впервые прочел наизусть строки Акакия Церетели, отец его на радостях побежал приглашать соседей, вытащил бурдюк с хванчкарой и пировал до утра.

— Я гостил в Раче у отца, — рассказывал Силован гостям, — когда

впервые увидел великого старца и познакомился с ним. Да, это, действительно, златоуст. Весь наш край он исходил пешком, нет, не пешком, а народ его на руках пронес. Наши женщины сопровождали его, плели ему венки из лучших цветов, пели песни на слова его стихов. Если б десять великих царей одновременно прибыли в Рачу, и то бы не удостоились таких почестей, — с увлечением рассказывал Силован.

Сидония, как обычно, хлопотала тут же у тонэ, где подрумянивался поросенок. Гостей угощали хаши, чудесной хванчкарой, услаждали слух песнями и музыкой.

\* \* \*

Однажды утром, когда мацончики и зеленчики, распродав свой товар, неспеша поднимались по Коджорской дороге, на пороге тонэ Силована появился мальчик лет десяти.

— Дядя Силован, к нам Акакий приехал, пожелал горячего шоти, и меня к тебе послали.

Румяные ароматные шоти стыли на полках. Силован стоял у тонэ с кочергой в руках. Он быстро обернулся на слова мальчика.

— Что ты сказал, малыш?

— Акакий к нам в гости пожаловал, и меня послали к тебе за твоим хлебом к завтраку, — повторил мальчик.

— Чей ты, сынок? — спросил его оторопевший от радости Силован.

— Я сололакский, у Сараджишвили работаю, к господам Акакий пожаловал и...

— Хорошо, детка, хорошо, расти большой! — У Силована руки были облеплены тестом. Он вымыл их холодной водой, вытер чистым холщовым полотенцем. Потом почему-то еще раз ополоснул руки, покрутился по тонэ, отхлебнул вина из кувшина. По усам, как ягоды ежевики, скатились две черные капельки вина.

— Так значит, Акакий пожелал шоти из моего тонэ, — сказал он, обращаясь к самому себе. Потом, вспомнив про мальчика, обернулся к нему:

— С этого дня, мальчик, каждое утро заходи ко мне, будешь получать для себя по одному хлебу. Денег не возьму, знай.

Подле тонэ стояла низкая плетеная корзинка. Силован сложил в нее пять шоти. Мальчик протянул пекарю серебряный рубль и взялся за корзину.

— Нет, детка, дай мне эту корзину, я сам понесу, а ты за мной иди. И деньги возьми обратно... Ведь не для кого-нибудь шоти, для самого Акакия!..

Силован юркнул в каморку, где висела его одежда, быстро надел чоху, пригладил усы и волосы и, пропустив вперед мальчика, вышел на улицу, закрыв дверь лавки.

— Теперь веди меня, — велел он мальчику. Тот, удивленный поведением Силована, пошел вперед, то и дело оглядываясь. В руке у мальчишки был крепко зажат рубль.

— Спрячь себе, — сказал ему про деньги Силован. — Ты, видать, не из богатых.

— Я сирота, отец у нас давно умер.

— А грамоту знаешь?

— Уже по слогам читаю.

— Ну вот и купи себе ранец и книги.

— Дядя... — ребенок растерялся. — Да что я сделал такого... Правда, мама хотела купить мне букварь, но...

— Что ты сказал? Букварь?.. Да, да, купи, сынок, букварь. Благослови бог это утро! А теперь идем поскорее!

Оба быстрыми шагами поднимались по Сололакской улице. Силован шел впереди, радостный, сияющий. За ним — мальчик.

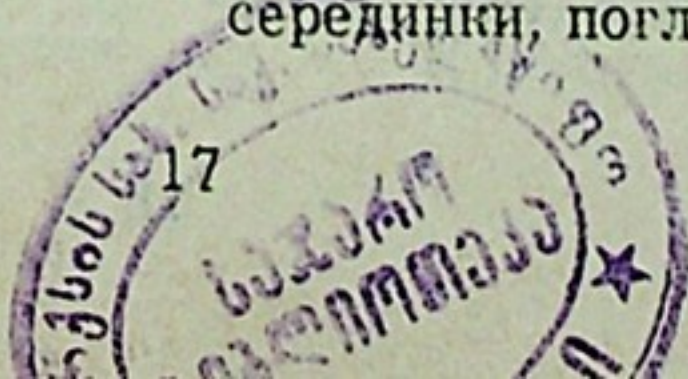
— Значит, Акакий захотел моего хлеба попробовать?! Слышишь, Силован Майсурадзе, какой чести ты удостоился? Не осрамил своего отца! Шутка ли, такое дело! С этого дня мои шоти, как святое причастие, будут раздавать народу... — бормотал Силован.

\* \* \*

На другой день весь город знал, что Акакий по приезде попросил шоти Силована Майсурадзе.

— Понравился Акакию твой хлеб? — спрашивал Силована сосед виноторговец Нестор.

— Понравился, очень понравился, дорогой Нестор. Знаешь, он сначала так поднял шоти, словно богу показывал, потом отщипнул кусочек из серединки, поглядел на него и сказал:



«Молодец, хорошо замесил тесто и хорошо выпек».

— А на вкус не попробовал? — удивился Нестор.

— Как же! Отломил краешек и обмакнул в красное вино. Откусил, улыбнулся. «В детстве, — говорит, — меня няня так учила, и с тех пор у меня такая привычка осталась».

— Любит он, знать, вино, — обрадовался виноторговец.

— Не прогневи бога, — оскорбился рачинец, — он и не пригубил чашу. Знаешь, что сказал Давиду? Вино, говорит, совсем иные мысли и настроения навеивает.

— А ты о своих детях не сказал ему? Они ведь его стихи так любят!

— Сказал, друг, сказал. Улыбнулся Акакий светло и говорит мне: «Грузины испокон веков стихи любят и умеют их слагать. В горе, в беде стихи им помогали, душу облегчали, а в радости — веселье умножали». Обещал даже в гости ко мне пожаловать — детей, говорит, посмотрю твоих. Эх, мой Нестор, если доживу до такого дня, скажу — под счастливой звездой родился.

\* \* \*

Долго тянется ночь до рассвета. А с зарей, не успеет ласточка крылья расправить, как утро уже блещет своими красками. Так и человек. До десяти-двенадцати лет — все ребенок, а потом вдруг сразу становится взрослым юношей или девушкой.

Симон и Тамуния так сразу повзрослели, что соседи только диву давались.

— Будь благословенна природа, — говорил Силован, — от их колыбелей еще запах молока не отошел, а они уже совсем большие — Тамуния скоро невеста, да и Симон уже жених.

Толстые каштановые косы Тамунии спускались до пят, а ее карие, широко раскрытые глаза смотрели так ласково, что заставили бы улыбнуться даже самого угрюмого человека. Она была высокая, стройная, как молодой тополь. Симон был среднего роста, но широкоплечий, крепко сбитый парень.

И брата и сестру любили все окружающие — и соседи, и знакомые, и учителя в школе. Сверстники в них души не чаяли.

В тот год особенно пышно справляли тэлетоба — осенний храмовой праздник. Весь город собрался на торжество. Съехался народ из различных уголков: кахетинцы, карталинцы, тушины, пшавы, хевсурцы, кизикийцы. Долго готовились, из последних сил выбились, но к празднику все припасли. Резали баранов. Приглашали друг друга в гости.

Силован Майсурадзе тоже не отстал от других — запряг арбу, снарядился в путь и повез свою семью к Соганлугским холмам, где собирался весь народ.

Симон и Тамуния тут же присоединились к молодежи. Увидев Тамунию, подруги окружили ее и стали просить прочесть стихи.

Девушка не заставила себя долго просить. Откинув одну косу за плечо и выпрямившись, начала мелодичным выразительным голосом:

Будем мотыжить мы поле,  
Песню рабочую грянем,  
Чтоб разлучиться нам с болью,  
Вечной нуждой и страданьем.

Девушки слушали Тамунию, затав дыхание. Когда она умолкла, молодежь заметила старика-хевсура с пандури<sup>1</sup>; он тоже внимательно слушал Тамунию.

Симон подошел к пандуристу и, почтительно поклонившись, спросил:

— Ты, наверное, не напрасно держишь в руках пандури?

Старик ничего не ответил. Только внимательно оглядел Симона с головы до ног.

— Наверное, отец, ты и песен много знаешь хороших? — продолжал, не смущаясь, юноша.

Старик поставил одну ногу на валявшийся рядом обломок скалы и степенно отвечал:

— Ты, видать, хороший парень, и девушка эта — певунья, что ж, и я вас хорошими песнями пораду.

Старый хевсур подоткнул за пояс полы чохи и, положив пандури на правое колено, сказал:

— Вот, вы стихами говорите, песни поете, а знаете ли вы, как родились стихи, кто создал их?

<sup>1</sup> П а н д у р и — струнный музыкальный инструмент.

И когда в ответ встретил удивленные взгляды, продолжал:

— Ну, так я вам расскажу. Это интересная, поучительная история.

Старик провел рукой по струнам пандури, прислушался к их мелодичному звучанию. Потом, когда звуки затихли, заговорил:

— Не изменяет мне мой пандури, боюсь только, чтобы струны не поломались, чтобы дерево не прогнило и не запело неверным звуком.

Молодежь теснее обступила пандуриста. Снова ударил он по струнам, и полилась незамысловатая мелодия.

«Там, где поднимаются из земли Эльбрус и Казбек, — начал свой сказ пандурист, — есть невиданная никем пещера. Через эту пещеру тропкой тянется жила очень твердой породы. Счастливец, нашедший эту тропку, дойдет до самого конца пещеры. Люди говорят, что там — горло Земли. Когда Земля вздыхает от радости или от печали, через эту пещеру-горло поднимается к богу и радость и печаль. Но только провидцу дано услышать дыхание Земли.

Еще говорят люди, что там же, близ этой чудесной пещеры, — обитель прикованного Амирани. Отвергнутый разгневанным богом герой оказался вдали от людской жизни. Прикованный девятью цепями к неприступной скале, он не знал ни о страданиях, ни о радостях людей. А ему хотелось все знать. Только Амирани было известно, что главная жила жизни Земли проходит через Кавкасион в том месте, где возвышаются белоснежные Иалбузи и Мкинвар-цвери. В гневе он ударил кулаком по этому месту, и открылось горло Земли, и стал он слышать с тех пор ее дыхание, в котором клокочет горе людское. И когда Земля вздыхает, Амирани понимает, о чем шепчет она.

А вздох Земли — не простой вздох: она шепчет стихи. Наверное, потому эта местность называется Лексис кэли<sup>1</sup>. Если поблизости находится человек, которому дано проникнуть в эту тайну, он услышит шопот Земли и поймет музыку ее дыхания, ее беззвучную для других песню, ее заботы и радости...»

Пандурист умолк.

— Какой счастливец этот чело-

<sup>1</sup> Лексис кэли — буквально — гордо стихов.

век! — воскликнула Тамуния. — Вот кто будет великим поэтом!

— Пусть розы усыпят путь твоей жизни! — ласково улыбнулся пандурист. — Да, дочка, слова поэзии обладают большой силой, полонят душу народа, и в небеса поднимаются, и в глубь Земли проникают.

— Такой человек, наверное, становится народным поэтом.

— Стихи, дочка, — великое богатство народа. Народ и дня не проживет без поэзии, без божественного слова. — Старику, видно, по душе пришлись слова Тамунии. — Грузин в могилу сходит со стихами на устах и в день свадьбы в стихах поет свое счастье. Стихи, дочка, — соль и цвет нашей жизни!

— Мудрые слова говоришь, пандурист, да продлит всевышний твои дни, — раздался вдруг чей-то голос. Это был Силован. Все обернулись к нему.

— Эге, да это ты, старый приятель! — обрадованно воскликнул Силован. — Я сразу не признал тебя, видно, старость мне глаза застилает.

— Э-э, я и сам постарел, мастер Силован. Вот дети мне понравились, и я им рассказал кое-что.

— Не узнаешь, жена? Это ведь Джарджо, тот самый, что заморозил всех своими песнями на нашей свадьбе, — обратился Силован к жене.

— Уй-ме, — радостно вскрикнула Сидония, — не узнала я, накажи меня бог!

— Это ты, Сидония! Рад тебя видеть, — просиял пандурист. — Я вот ожидаю сына, издалека он едет. А тут тэлетоба подоспело. А ты изменилась, Сидония, только еще краше стала. Да, сазандари твоего мужа кому не украсит жизнь!

Сидония смущенно улыбалась, прикрывая концом платка рот.

— Сегодня ты наш гость, — Силован обнял пандуриста. — Идем к нам, повидеешься со старыми друзьями. — И увлек его к своей арбе, где уже собралась большая компания.

\* \* \*

Оба приятеля чудесно провели время. Пели под аккомпанемент пандури и сазандари и наутро отправились к Силовану домой.

— Клянусь создателем, никогда

не забуду нынешнее тэлетоба, — говорил Силовану довольный Джарджо. Он не заметил, что к дому Силована, кроме арбы, в которой сидели Джарджо, Сидония и Силован, ехала и другая арба, с Симоном и Тамунией. Арбы поравнялись только близ Ортачальских огородов.

— Какие прекрасные дети, счастливые их родители! — с восхищением воскликнул Джарджо.

— Кто из них тебе больше нравится, юноша или девушка? — лукаво улыбаясь, спросил Силован.

— Юноша замечательный, стройный, плечистый, и глаза хорошие, сильные и добрые. Но мне, горемычному, все же девушка больше нравится. У меня ведь дочери нет. А эта и собой хороша, и стихи любит, певунья! Вероятно, всем нам, у кого только сыновья есть, такое чувство знакомо. Когда я эту девушку увидел и услышал, как она щебечет, точно птичка, там, на празднике, — я сразу моего сына вспомнил: нет у него сестры, один растет, бедняжка.

Тут только Сидония спохватилась, что Джарджо не знает ее детей:

— Боже мой, Силован, как же это мы с тобой не познакомили Тамунью и Симона с нашим гостем?

— Да, мой Джарджо, — с улыбкой обратился к нему Силован, — вижу я, что понравились тебе и девушка, и юноша.

— Верно говоришь, ну и что из этого? — насторожился Джарджо.

— А то, что это моя дочь и мой сын, оба они наши — мои и Сидонии.

Джарджо недоверчиво посмотрел на Силована, потом на вторую арбу и, махнув рукой, сказал:

— Вот теперь-то я вижу, что постарел: и зрение ослабло, и ум без прежней остроты — не догадался, не узнал... А ведь похожи, ей-богу похожи! И лицом похожи, и плечи твои у мальчика, а глаза у обоих — Сидонии.

— Папа, — окликнула отца Тамунья, — мы обгоним вас, поедем вперед, чтобы завтрак приготовить.

Джарджо молча глядел им вслед, потом задумчиво произнес:

— Мой сын, Георгий, учится в России лечить животных, будет, значит, доктором. Любит он животных. И стихи любит. На пандури тоже

играет хорошо. Но все же в доме женщина нужна.

— Доктор, говоришь? — с удивлением переспросил Силован.

— Да, на доктора учится, — оживился Джарджо. — Туго пришлось нам, сам понимаешь, какие мы богачи, но он все же уехал. Овец будет лечить. В Одессе он, завтра-послезавтра придет, встречать буду.. Через море мой мальчик должен ехать, — с любовью добавил он.

— Дай бог тебе счастья, обрадовал ты меня хорошей вестью! — воскликнул Силован. — Такую встречу устроим твоему сыну, что сам царь позавидует!

\* \* \*

На третий день семья Силована и Джарджо явились на вокзал к приходу потийского поезда.

Из вагона второго класса вышел на перрон молодой человек в студенческой форме.

— Сюда, Георгий, сынок, вот я! — закричал Джарджо и бросился ему навстречу, раскрыв объятия.

Молодой человек смотрел в другую сторону, но, услышав родной голос, оглянулся. Широкая улыбка осветила его лицо.

— Отец! — воскликнул он и побежал к нему. Отец с сыном обнялись, расцеловались.

— А ты не постарел несколько, папа, молодцом держишься! Мама как? Здорова?

— Здорова! Тебя ждет. Увидит ненаглядного сына — совсем счастлива будет.

Тут Георгий заметил стоящих поодаль Майсурадзе. Его взгляд задержался на сестре и брате.

— Познакомься, сынок, семья моего старинного друга, ты слышал о нем и знал его, когда был маленьким. Помнишь Силована Майсурадзе?

В тот день сазандари и пандури не умолкали в доме Силована. Георгий быстро подружился с Тамунией и Симоном. Родители, глядя на них, радовались и вспоминали свою молодость.

Неделю гостили у Силована пандурист и его сын, а потом ушли к себе, в Хевсуретию.

— Хороший у Джарджо сын, — задумчиво сказала Сидония, проводив их.

— Да, уже взрослый мужчина.

Погоди немного, скоро, может, и наш Симон станет студентом, — добродушно улыбнулся Силован.

— Да услышит господь твои слова! — Сидония перекрестилась. — Хороший, очень хороший парень Георгий, — снова повторила она.

— В январе опять приедет. Овец будет в горах лечить, чтобы проверить на деле науку, которой его там учат. Когда в Россию будет возвращаться, и нас проведает.

— Нужно ему сладости, чурчхелы припасти на дорогу.

— Вот это правильно! Умница ты, женушка! Доброе дело и хорошее отношение к человеку не пропадают в этом мире. — И Силован почему-то лукаво прищурил один глаз и улыбнулся в усы. — И ведь знаешь, Сидония, — добавил он, — в тот год, когда Тамуния окончит гимназию, Георгий вернется из России.

Сидония удивленно взглянула на мужа, долго смотрела ему в глаза, а потом тихо проговорила:

— Дай бог, дай бог, мой дорогой. Георгий очень хороший парень.

\* \* \*

Была зима. Холодный ветер гулял по тбилисским улицам. Джарджо вместе с Георгием, приехавшим на каникулы, зашли к Силовану.

— В горах снег, на перевалах такие метели, что и орлы летать боятся. Мы решили, что Георгию лучше ехать поездом, — рассказывал Джарджо другу. — Вот жена послала Сидонии мед, а тебе, Силован, я это принес, — и он вынул из хурджина шкурку черного барашка, нежную, шелковистую. — Я думаю, из нее получится отличная папаха, а?

У Силована глаза заискрились радостью.

— Спасибо, Джарджо, ну зачем ты беспокоился, дорогой, — сердечно благодарил он друга, принимая подарок.

На следующий день Силован рано ушел из своей лавки, так как его ждали гости. По пути заглянул на базар, прихватил мясо на шашлык, зелень, сыр, купил свежую храмули у рыбника и направился к скобяному магазину, где условился встретиться с Джарджо и Георгием. Оттуда все трое медленно пошли к дому

Силована. Когда они приблизились к караван-сараяю на Эриванской площади<sup>1</sup>, Джарджо сказал Георгию:

— Иди вперед, у нас с Силованом дело есть.

Георгий прибавил шагу и вскоре скрылся в толпе. Джарджо и Силован спустились в погребок и потребовали бутылку вина.

— Силован, мы с тобой не первый год дружим, — заговорил Джарджо. — Знаешь, что я думаю? Давай породнимся, поженим Георгия и Тамунию, а? Что скажешь?

Силован пристально глядел на друга.

— Не рано ли, Джарджо? Тамуния еще девчонка, а Георгий должен пока учиться. Не бросит же он учебу!

— Зачем бросать! Будет у него невеста, он спокойно закончит свое учение и приедет к ней.

— Знаешь, Джарджо, я не могу сказать этого Тамунии, пусть пока ничего не знает. А мы с тобой дадим друг другу слово. Ведь наше слово нерушимо, не так ли?

— Хорошо, шени чириме<sup>2</sup>, будь по-твоему. Ударим по рукам, а как Георгий вернется из России — справим свадьбу, — согласился Джарджо.

Они распили еще по бутылочке вина и отправились домой.

— Ну, Сидония, покажи свое умение! Сама знаешь, как потчевать гостей Силована Майсурадзе! — весело сказал Силован жене. Но Сидония как-то странно посмотрела на мужа и ничего не ответила. И не улыбнулась, как всегда, когда встречала и провожала его.

«Что бы это могло значить?» — подумал Силован. Но при госте не стал ее расспрашивать. Увидев же сына и дочь, раньше времени вернувшихся со школы, совсем растерялся и понял, что произошло что-то неладное. Георгий, пригорюнившись, сидел на балконе.

— Вы что, не были сегодня в школе, дети?

— Были, но нас рано отпустили, папа, — ответил Симон.

— Рано отпустили?! А почему? Что случилось!

— Папа, большое несчастье! — Тамуния расплакалась.

<sup>1</sup> Ныне площадь Ленина.

<sup>2</sup> Шени чириме — ласковое обращение.

— Да что такое, скажите же, наконец! — Силован взглянул на Сидонию. Та стояла бледная, поникшая.

«Наверное, из Кутаиси сообщили, что мой отец скончался...», — мелькнула мысль у Силована.

— Женщина, говори, не мучай меня! Какое горе на нас обрушилось?

— Акакий Церетели скончался, папа! — сквозь слезы произнесла Тамуния.

— Что ты говоришь, дочка? — переспросил Силован.

— Акакия уже нет, Силован, умер он! — словно издали донесся до него голос Сидонии. Силован растерянно поглядел на всех, медленно подошел к тахте, сел, машинально оправил чоху.

— Кто это сказал? Может быть, неправда?

— Сегодня в школе мы не учили стихов... — не поднимая головы, грустно произнесла Тамуния.

— И мы тоже. Ни стихов, ни песен, — подтвердил Симон.

— Плохой вестью встретили меня... — глухо проговорил Силован. Потом поднялся, потрогал кинжал на поясе. Долгим взглядом посмотрел на сазандари, висевшее на стене, увешанное серебряными монетами и побрякушками, оно казалось сейчас каким-то безжизненным.

— Эх, друг Джарджо, мой сазандари сегодня, словно мертвый. Я вспомнил, как ты говорил мне тогда на тэлетоба: он живет печалью и радостями народа. — Потом словно спохватившись, спросил его: — Интересно, Важа<sup>1</sup> в Тбилиси?..

Джарджо, как вошел в комнату, так и стоял на одном и том же месте.

— Какая скорбь обрушилась на нас! Земля станет влажной от слез народа. В Грузии не переведутся стихи и песни, мой Силован, наша земля сама поет. Но и один такой день — немой день, без песен и стихов — тяжек для нас.

\* \* \*

Всю ночь Силован ворочался с боку на бок и не мог уснуть. Из смежной комнаты доносился храп Джарджо. Сидония, видно, тоже спала.

Наконец, где-то далеко прокричал петух. «Наверное, под Мтацмин-

дой. Там всегда петухи кричат раньше других», — подумал Силован. «Эх, что за день, что за ночь...»

Силована потянуло на улицу. Оказывалось, уже рассвело, дети шли в школу. Но вели они себя очень странно: не повторяли по пути стихов, не смеялись, даже не разговаривали между собой. Как тени, беззвучно, печально брели они по тротуарам.

Что за день! Силован свернул в знакомый погребок. За столиками сидели люди, молча ели и пили вино. Медоле Васо понуро смотрел на доли<sup>1</sup>. А как он чудесно пел только позавчера, какими замечательными песнями услаждал слушателей...

Силован расстроенный вышел из погребка. Он ничего не потребовал, даже стакана вина не выпил. Он был ошеломлен всем, что увидел в это утро.

На улице ему встретился извозчик Ило. Извозчик был известен всему городу, как непобедимый борец и прекрасный песенник. Он знал все тбилисские песенки. У него был такой могучий бас, что, когда он пел полным голосом, казалось, содрогались стены церкви Кашвети. А сегодня и он был сам не своей. Уныло смотрел в одну точку и молчал. На Силована даже не взглянул.

«Сегодня все притихли! Не только стихов или песен — слова ни от кого не услышишь!», — взволнованно думал Силован. Вдруг он увидел Симона. Сын, как-то съезжившись, словно столетний старик, сидел на скамье в углу вагончика конки. И так взглянул на отца, как смотрят на постороннего и незнакомого человека.

— Что за наваждение! — подумал Силован. Он хотел было встать со скамьи, где сидел, да не тут-то было. На плечи ему давила невероятная тяжесть. Он чувствовал полное бессилие. «Видно, смерть моя пришла!» — подумал он. Хотел было повернуться — и этого не смог сделать. Провел по телу руками и вдруг ощутил под пальцами комья мягкой земли.

«Боже, кто это меня землей обсыпал! Но на могильную землю не похоже. Это мягкая, ласковая земля. Такая, которая радуется крестьянина».

<sup>1</sup> Доли — ударный музыкальный инструмент, род барабана.

<sup>1</sup> Важа Пшавела.

кормит его, дает жизнь». Ему почудился аромат фиалок, исходящий от этой земли. И она показалась ему пышной, словно хорошо подошедшее тесто для хлеба.

«Видно, уже пришла весна. Скоро расцветут цветы, распустятся фиалки, нежные, ароматные, удивительные фиалки...»

Еще раз попытался встать. И опять не смог подняться. И вдруг стало как-то особенно легко. С плеч скатывались комья мягкой, чуть влажной черной земли. Боже, помоги! Что это еще! Сталкиваясь друг с другом, комья словно пели. «Видите, земля поет, земля безмолвная, бессловесная земля поет! Да, не исчезли стихи с грузинской земли, она сохранила их. Нет, не сохранила — она сама рождает стихи, в земле — корни поэзии. Вот она, самая удивительная тайна мира! А говорили, будто поэзия рождается в небесах... Нет, это ложь, только земля — проматерь всего сущего, всего, что есть в мире.

Молодец, Джарджо, ты рассказал правдивую легенду на празднике тэлетоба. Сегодня, когда скорбное молчание сковало уста всем людям, земля сказала свое слово!»

Подумал Силован и о том, что язык стихов понятен всем — и простым необразованным людям и просвещенным. Многие люди на свете не умеют ни читать, ни писать, но слагают стихи и песни. Кто создал песню об Арсене? Народ. Да мало ли других прекрасных песен и стихов народных. Оторви поэзию от земли, от народа — и она увянет, утратит силу и красоту. Эх, Джарджо, простой ты человек, а ведь сказал великую правду. Сидония, буди нашего гостя, я должен его отблагодарить, должен почтить его!

Его крик разбудил Сидонию. Она вскочила, зажгла свечу, подошла к изголовью спящего Силована, стала трясти его за плечо.

— Силован, что с тобой, очнись!

За окном голубел рассвет. Доносились крики извозчиков, шаги пока немногочисленных прохожих.

— Господи, помилуй, ну и сон мне приснился! Кошмар какой-то!

— Чего ты кричал, испугал меня, я уж думала...

— Чего кричал! Плохой сон видел, понимаешь ты?! — разошелся

вдруг Силован, но увидев, что она и вправду перепугалась, ласково успокоил ее: — Ничего, ничего, же-нушка, все прошло!

\* \* \*

Настал день похорон Акакия. На Мтацминду с утра поднялось столько людей, что казалось, земля не выдержит такой тяжести.

В этот день Силован выпек только одну выпечку шоти и погасил тонэ. Распродав хлеб при закрытых ставнях, крикнул соседу-винооторговцу:

— Иди сюда, дело есть.

Тот удивился:

— Ты на похороны не идешь?

— Нет. Я не хочу его мертвым видеть. Я видел его живым, и живым пусть он останется в моей памяти.

Винооторговец замолчал, отвел глаза в сторону.

— А Джарджо и его сын? — спросил он.

— Они тоже не пошли. Скоро сюда придут. И ты не ходи: мы посвоему, по-рабочему, почтим его память.

Над Мтацминдой уже спускался вечер. В небе загорались звезды. А в городе было тихо-тихо. Словно древний Тбилиси прислушивался к тому, что свершалось сейчас на Святой горе<sup>1</sup>. Словно боялся, чтобы земля, святая земля, которую насыпали на грудь усопшего, не беспокоила старца.

Скорбь распростерла свои черные крылья над Тбилиси. Ушел великий поэт, лучший сын эпохи. Тяжелая утрата, словно камень, придавила народ. Не слышно было ни музыки, ни песен.

С утра в Сиони звонили колокола. Сейчас и они умолкли. Город будто задумался над тайной смерти и бессмертия. Высоко-высоко, на груди горы покоился прах большого певца маленькой страны. Там уже никого не было. Полный покой и тишина. Даже ветер не нарушал покоя великих могил.

К Силовану сходились друзья.

— Ну, — сказал он, когда пришли все, — теперь можно идти.

В черных чохах, черных бурках, люди двинулись к Сололаки.

<sup>1</sup> М т а ц м и н д а — по-грузински — Святая гора.



У каждого в руках была толстая восковая свеча, небольшой белый шоти и хелада с темно-красным вином.

Миновали Эриванскую площадь, Сололакскую улицу, завернули на улицу Петра Великого — все выше, по узким, извилистым переулкам, — туда, где в темноте ночи неясно белет церковь.

Силован шел впереди. Рядом — Джарджо и извозчик Ило. Позади — Георгий, одноглазый метонэ Бесна, богатырь Михако — грузчик с Шайтан-базара, Коста-шорник, весельчак, душа-человек, и еще другие... Одиннадцать мужчин в черных бурках и юноша в студенческой форме шли молча, никто не проронил ни единого слова.

Вот она — могила. На холмике свеженасыпанной земли — большой венки:

Акакю — Грузия.

Силован встал с восточной стороны могилы, зажег свечу. Одна за другой загораются свечи. Пламя их неровным светом освещает склоненные смуглые лица, огрубевшие рабочие руки, безмолвный и могучий маленький холмик, четкие черные буквы на траурной ленте.

Колышатся угловатые грубые бурки, свечи и руки, их держащие, опускаются низко над могилой.

Преклонив колени на холодную влажную землю, каждый отламывает по кусочку белого шоти, окунает в вино. Хлеб впитывает влагу, разбухает, словно оживает в руках.

«Акакый тоже так делал», — думает Силован. Он кладет смоченный в вине хлеб на землю.

«Все мы станем прахом, всех нас покроет земля...» — думает мекуртнэ Михако.

«Жизнь — одна из форм бытия...», — словно развивает эту мысль Георгий.

«Удивительно, что и такие люди умирают так же, как и все», — размышляет Джарджо.

«Золото лилось из его уст, а те-

перь они сомкнуты навеки, ни улыбка, ни слово не оживит их», — с болью думает Коста.

«Да, бессмертие — в служении родине, в служении народу».

Силован без слов поднимает хеладу и осушает ее. И все делают то же. Запрокидывают головы, и в глаза их заглядывают звезды. Небо темно-синее, луны пока нет, и от этого звезды кажутся еще ярче.

Последние капли стекают из хелад на могилу. Хелады разбивают о скалу. Медленно, в скорбном молчании уходят Силован и его друзья с могилы Акакя. И еще раз преклоняют на земле Мтацминды колени, обнажают головы — перед могилой Ильи.

Выйдя за ограду, все, словно сговорившись, останавливаются, прощальным взглядом окидывая безмолвные гробницы. Луна выплыла на небо и льет свой холодный призрачный свет. И вдруг в тишине ночи отчетливо прозвучал голос Силована:

— Спят великаны земли грузинской!

Георгий обернулся к нему.

— Да, спят, — задумчиво сказал он, — но своим бессмертным словом будят нас...

Неспеша спускаются по узкой крутой тропинке. Внизу, у подножия горы, темнеют две фигуры. Георгий узнал Тамунию и Симона. Брат и сестра безмолвно присоединяются к идущим. И вновь Силован прерывает тишину.

— Правильно, мой Георгий, разбудят и передадут вам, молодым, то знамя, которое им не дано было донести. Донесете ли вы?..

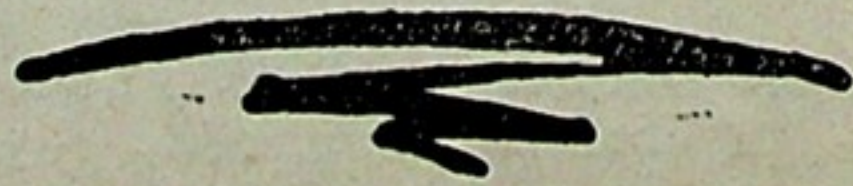
Все встрепенулись, насторожились.

— Донесем, — в голосе Георгия зазвенела сталь. — Донесем, дядя Силован, — твердо сказал он.

Все обернулись в его сторону. Луч луны скользнул по лицу юноши, осветил горящие решимостью глаза и сурово сжатые губы.

Тамуния подошла к отцу, взяла его за руку.

— Папа, сегодня мы снова учили стихи.



## Хроника одной деревни

Перевод с грузинского Ф. Твалтвадзе

Продолжение

Рис. З. Нижарадзе

— На пользу вам! — сказал он добродушно.

— На здоровье и на радость твоей семье! — ответил Анания.

— Что там за заминка? — закричал кто-то из пришедших. — Если боится кто-нибудь, пустите меня — я буду первый.

— Не лезь без очереди, — остановил его сосед.

— А ты тут кто такой, что командуешь? — вскипел первый.

— Да не ссорьтесь вы, люди добрые. Всех мигом отпущу, — старался Анания утихомирить крестьян.

Сухощавый, однорукий крестьянин вел на привязи двух свиней. Сдав их Анания, он расписался в книге на целую страницу.

— Ты чего так размахнулся? — улыбнулся Анания.

— Чего? — переспросил однорукий. — Чтоб не запутаться... А вдруг да...

— Что «вдруг»? Думаешь, артель развалится, и ты своих чушек обратно заберешь? — раздался нетерпеливый голос из толпы. — Проваливай отсюда. Встал поперек дороги!

Во двор важно шагнули два гладких, откормленных вола. Анания так и просиял от удовольствия, увидев их, даже с места привстал. Но, опередив их хозяина, из-за широких спин волов высунулась голова Пело в шерстяном платке.

— Ну, а ты-то уж, конечно, на чужом горбу хочешь в рай въехать? — добродушно спросил ее Анания.

— Это почему же? — оскорбилась Пело и, засунув руку в широкий карман сборчатой юбки, вытащила из него жалко нахохлившегося, старого красноглазого кочета. — Бедность не порок, дорогие! Что было, то и принесла в общий котел. Хочу вступить в артель, чтобы в люди выйти!..

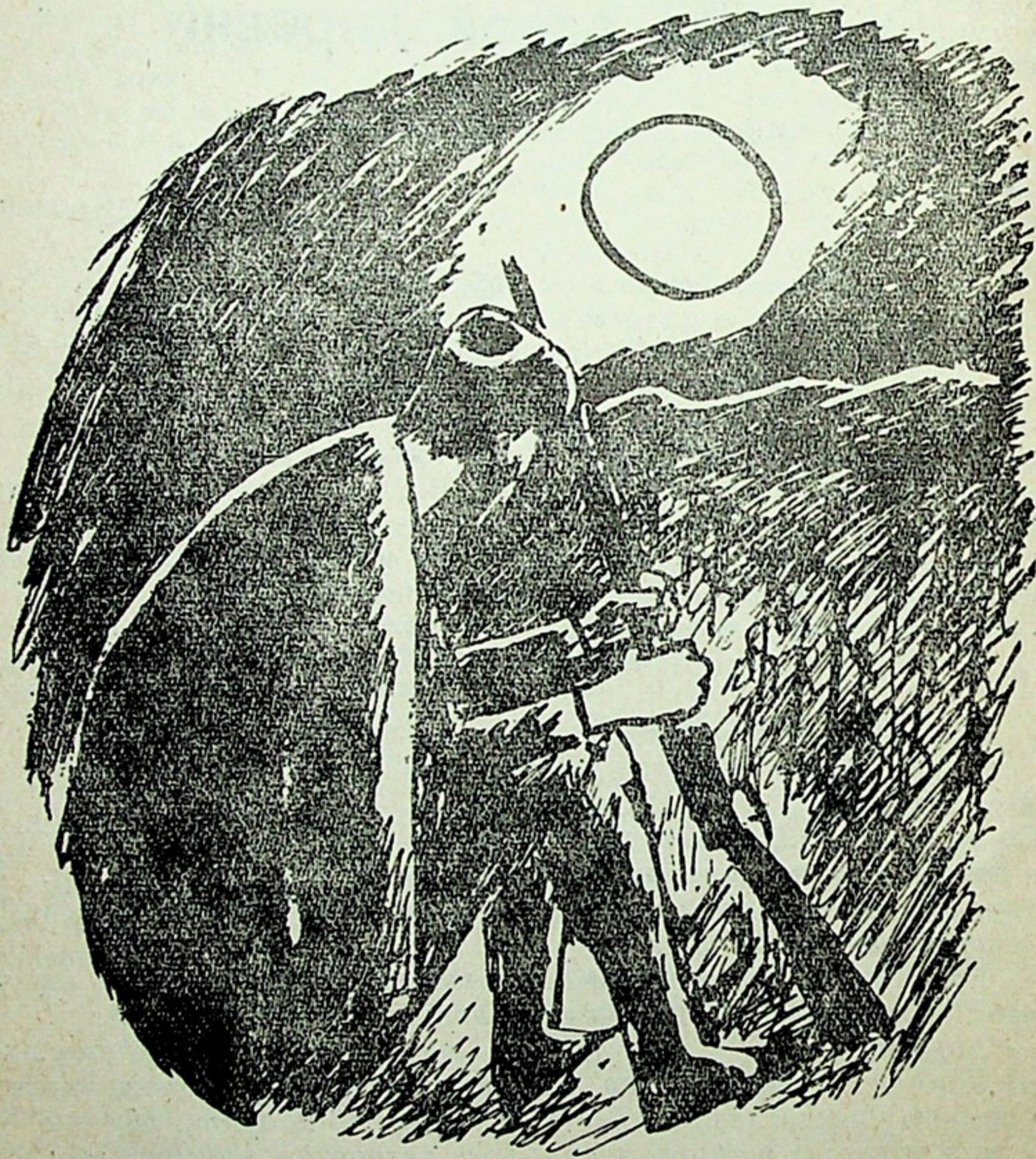
Допоздна сидел Ананий за столом, составляя список колхозного добра. Загон был набит скотом и птицей до отказа. Небольшое имущество каждого, собранное воедино, представляло собой целое богатство.

Долго не расходился народ у конторы. Крестьяне спорили, прикидывали, строили планы на будущее.



Был конец августа. Созрел первый колхозный урожай. Вардванцянцы радовались, глядя на широкие поля с еще не заросшими следами от межей и на густую зелень виноградников. И вдруг разнеслась весть, что ночью кто-то пробрался в колхозный виноградник и срезал на корню множество лоз. Председатель сельсовета в тот же день сообщил о происшествии уполномоченному милиции, но напасть на след преступника не удавалось. Долго обсуждали возмущенные колхозники этот случай. Было решено ночами по очереди сторожить виноградник.

Первым вызвался сторожить Ладо, хотя его сильно знобило со вчерашнего вечера — давала знать о себе застарелая малярия, которую он подхватил, прячась от преследования меньшевиков в заболоченной пойме Алазани.



Ладо сидел прямо на земле, чутко прислушиваясь к настороженной тишине, — лишь изредка донесется с дальней околицы села сонное тьяканье дворняжки, или глухим замогильным голосом закричит какая-то ночная птица. Под утро потянуло холодом. Черные, тяжелые тучи одну за другой погасили все звезды на небе. Ладо бил озноб. «Надо было за-

хватить мою старую шинель, — думал он. — Но кто в августе ходит в солдатской шинели...»

С дальнего конца села шумно надвигался вал ветра, перебирал волновал листья. Внезапно налетел дождь — быстрый, крупный, полетному частый, но пронизывающе холодный. Ладо с трудом добежал до сторожки: дыханье спирало, сердце билось часто и неровно. Но он упрямо сидел в сторожке до самого утра, скрючившись и дрожа. Наконец дождь отшумел. Рассвело...

Еле доплелся он до своей постели, с трудом разделся и лег. Когтями впицась в тело лихорадка. С леденящей ясностью Ладо ощущал, как подбирается к нему то страшное и неотвратимое, что сильнее стремления человека жить.

Анания, расстроенный и мрачный, не находил себе места. Врач, вызванный из района, не подавал никакой надежды. Сердце сжималось от сознания собственного бессилия помочь другу.

Ила не отходил от больного Ладо, старался предупредить его малейшее желание и то менял пузырь со льдом, то давал пить лекарства, предписанные врачом.

Ладо подолгу лежал с закрытыми глазами. В его разгоряченном сознании обрывками проплывало прошлое. Мало радостного было в его недолгой жизни. С семи лет предоставленный самому себе, круглый сирота нашел тепло и ласку только у рабочих железнодорожных мастерских, здесь научили его ремеслу. Юноша рано втянулся в революционную работу, вступил в партию. Дважды был ранен. Дважды сидел в тюрьме. Самое тяжелое ранение — в плечо при последнем побеге...

Больной еле слышно застонал, приоткрыл глаза, попытался встать. Ила кинулся помочь ему.

— Воды принести, дядя Ладо? — заботливо спросил он дрожащим голосом.

— Нет, хочу поговорить с тобой. Сними мою шинель со стены и принеси сюда, сядь поближе и слушай меня внимательно.

Ладо ласково провел рукой по своей шинели.

— Вот эта шинель, Ила, — мое единственное богатство, — заговорил он слабым голосом. — Шинель грела меня от холода, укрывала по ночам... Я люблю ее... А теперь, мой хороший мальчик, я хочу оставить ее тебе на память, больше у меня ничего нет. Будь честным, будь преданным народу — вот все, что я могу оставить тебе в наследство.

Ладо закрыл глаза и надолго замолчал, — наверное, устал говорить. Капли пота выступили у него на лбу, на висках.

— Дядя Ладо, зачем ты так говоришь? — Ила еле сдерживал подступавшие к горлу рыдания.

— Во всякой беде надо сохранять мужество... — едва слышно прошептал больной. Судорога исказила его лицо. Мальчик инстинктивно отодвинулся, испуганно озираясь. Ему хотелось крикнуть, позвать кого-нибудь на помощь, но он не мог пошевелиться, точно был прикован к месту. Наконец, собрав все свои силы, бросился из комнаты.

— Отец! — изо всех сил закричал он, очутившись за дверью.

— Что? Что случилось? — Анания уже бежал навстречу.

Ила прижался к его груди и зарыдал.

Магдана вскрикнула, кинулась к Ладо и тут же вернулась обратно.

— Все кончено... Бедняга!.. — Слезы душили ее.

Анания закрыл лицо руками.



Мелано поспешно спустилась в глухой заброшенный овраг, находившийся в стороне от проселочной дороги. Осмотревшись, она присела у тропинки на большой плоский камень. Вскоре послышались тяжелые шаги с противоположной стороны, и пожилой крестьянин с огромным кинжалом за поясом появился на тропинке. В руках он сжимал дубину. Мелано встала, поправила платок на голове и пошла ему навстречу.

— Сердце чуть не оборвалось у меня, Китела, от волнения. Ведь столько глаз следит за нами! — сказала она.

Китела степенно поздоровался с ней, похлопал ее по пухлым рукам и устало ответил:

— Нельзя, чтобы по всяким пустякам сердце обрывалось, радость моя! Я уже говорил — со мной ты ничего не должна бояться.

— Это так, дорогой Китела, но время теперь другое, ох, совсем другое — сын родного отца не щадит...

— Не огорчайся, Мелано, — успокаивал Китела, крепко сжимая ее руки повыше локтя своими толстыми пальцами. — Недолго осталось им хозяйничать — из Анаги слышно, что артели скоро будут распускать. А знаешь, что в Кеди случилось? Там чуть на куски не разорвали Чохели, их главаря...

— Разве на них найдешь управу? — грустно возразила Мелано. — Виноградники-то отобрали, и все в их руках.

— У меня та же беда, и Гвинаура день и ночь оплакивает свой виноградник. Потому-то ты и нужна нам, Мелано, что ты — женщина опытная, понимаешь толк в хозяйстве, тебе легко нас понять.

На лице Мелано заиграла улыбка.

— Чем я помогу, бедная несчастная вдова? — потупилась Мелано.

— Для всех найдется дело, — серьезно заговорил Китела. — Ты возьми клятву с Пело, что она пока ни гу-гу, а потом мы заставим ее говорить на сельской площади то, что нам нужно. Сама убедилась, как много можно сделать при желании... Видала, как свалился Ладо, их главарь? Если дальше так пойдет, хорошо будет.

— Сама-то я не очень разбираюсь в вашей драке, Китела, мне лишь бы виноградник Джамбара вернули. Жизнь готова за него отдать.

— Это дело нетрудное, — губы Кителы скривились в улыбке. — За то мы и боремся, чтобы и тебе, и всем, у кого отобрали виноградники, вернуть их обратно.

— Постой, кажется, кто-то идет, — остановила его Мелано. Китела тотчас замолк и скрылся за выступом скалы.

Из-за поворота вышли двое. Мелано так и обмерла, узнав в них Киндзигапо и Басу.

— Почему же вы знака не подали? — накинулся на них Китела.

— Забыли, — лениво буркнул Баса, широко зевая.

— А ты чего так боишься? — огрызнулся Киндзигапо. — Кто, кроме нас, станет ходить в такую пору по этому чертову оврагу!

— Это тебе так кажется, а они-то хорошо знают, куда ходят те, кто у них на примете.

— Гвинаура еще нет? — спросил Киндзигапо.

— Нет, — ответила Мелано.

— Трудно ему оторваться от своей толстой женушки, — хихикнул Киндзигапо.

— Чтоб ты лопнул! — накинулась на него Мелано. — Никак не можешь без зубоскальства.

— Эй, ты! — осадил его Китела. — Прикуси язык!

— А тебе-то какая печаль? — не унимался Киндзигапо.

— Я не люблю глупую болтовню. Большевики вот, надо им отдать справедливость, зря не болтают.

— В коммуне Чохели, говорят, все друг друга называют «товарищ», и женщины у них в почете... — торопливо вставила слово Мелано.

— Как же, в почете, — скривил рот Киндзигапо. — Да я сам был там и слышал, как все ругают новые порядки, но не знают, куда податься.

— А вот и Гвинаура! — воскликнула Мелано.

Китела вздрогнул.

— Со мной что-то неладное творится — вот и его приход проморгал! Да и вы тоже хороши, — сказал он с досадой. — С вами и до беды недалеко.

— Ты прав, дружище! — поддержал его Гвинаура. — Раз уж решили мы добиваться своего, надо быть поосторожней. А то сидим, как куры на насесте, и бери нас голыми руками. Вот-вот выследят.

— Неужели выслеживают? — вытаращил глаза Китела.

— А ты как думал? — злобно усмехнулся Гвинаура. — Этот проклятый Кимпала заладил одно и то же, как расстроенная шарманка: пока не выкорчем классового врага из Вардиани, не будет вам, дескать, покоя. Я как-то к нему подослал своих людей, и они мне с его слов сказали, что Китела и Гвинаура, мы, значит, с тобой, на заметке у большевиков, вот-вот заграбастают нас...

— Это ты правду говоришь? — заволновался Китела, облизывая пересохшие губы. — Или шутишь?

— Кимпалу надо с дороги убрать, — деловито заметил Киндзигапо. — Это я беру на себя.

— Еще не время, — остановил его Гвинаура. — Кимпала мелочь, на селе же его любят и доверяют ему. Все знают, что Кимпала ненавидит кулаков. Если мы убьем его, беду наживем. Лучше договориться с другими деревнями, чтобы выступить всем вместе, сообща.

— Правильно, только поторопиться надо, — сказал Китела и, пользуясь темнотой, протянул руку к Мелано; та возмутилась и с такой силой ущипнула Кителу, что тот оборвал свою речь на полуслове и застонал.

— Что случилось? — подскочил к нему Киндзигапо.

— Черт знает, скорпион, наверно, укусил, — пробормотал Китела, поглаживая руку.

Киндзигапо тут же смекнул, в чем дело, и неожиданно предложил:

— Пересядь-ка на мое место!

Китела неохотно согласился. Киндзигапо, подсев к Мелано, крепко ущипнул ее повыше локтя:

— Мелано, если хочешь получить виноградник, то надо подумать о вознаграждении. А как же иначе?

В темноте послышался звук увесистой оплеухи.

Киндзигапо вскочил с места, потирая щеку.

— Что, никак и тебя скорпион укусил? — торжествующе спросил его Китела.

Баса от души хохотал. Гвинаура отошел в сторону.

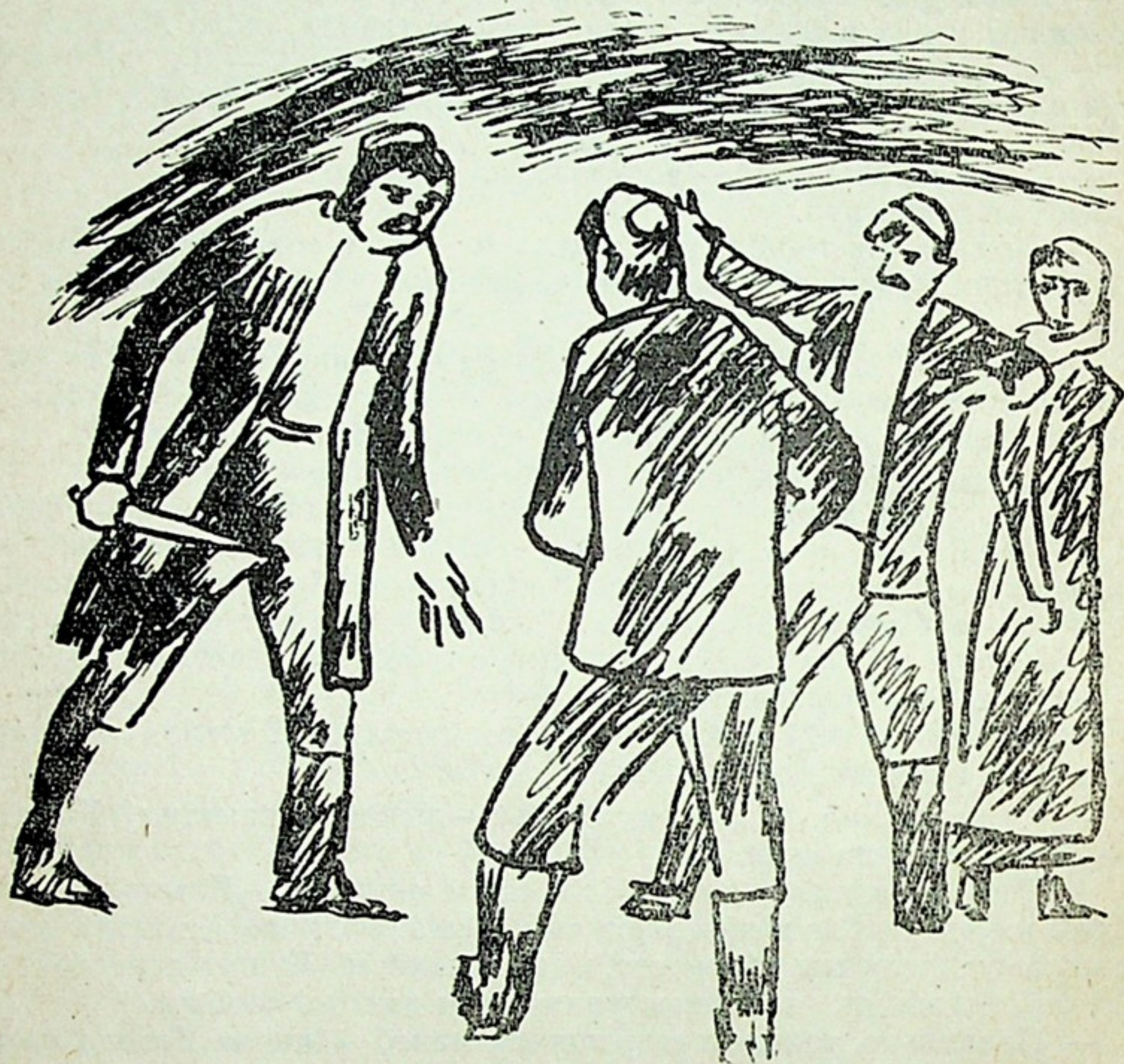
— Ничего не получится у нас, — с укором заговорил он. — Я думал, вы для дела собрались, а у вас шутки на уме.

— Подумаешь, велика важность — позабавились немного, — хихикнул Киндзигапо.

Китела стал перед Киндзигапо, выпятил грудь колесом и, схватившись за рукоятку кинжала, вызывающе глянул на соперника.

— А ну-ка! — выдохнул он угрожающе.

Киндзигапо отступил на шаг, в его руке сверкнуло лезвие ножа.



Гвинаура тяжело шагнул к ним и решительно отстранил их друг от друга.

— Вы с ума сошли, постыдитесь! — брезгливо сказал он.

Баса довольно ухмылялся.

Мелано собралась уходить.

— Не сердись, Мелано, пошутили мы! — стал успокаивать ее Китела.

— Эх, проклятая моя доля. Сижу одна с вами, с охальниками, да еще ночью. Если бы не виноградник... — И она заплакала.

— Киндзигапо, — сурово позвал Гвинаура, — прикончить бы тебя тут же, на месте, за твои безобразия, да не до тебя теперь, — и он смачно плюнул в его сторону. — Давайте же серьезно поговорим о деле, обсудим все по порядку. Баса, ты отойди подальше и слушай, чтобы не подкрался кто...

Киндзигапо был человек бывалый, прошел, как говорится, сквозь огонь, воду и медные трубы. Запугивания и угрозы на него никак не

действовали, но слова Гвинаура задели его — что-то страшное и неотвратимое почудилось ему в этих словах. Но он не думал смиряться. «Подожди, доберусь я до тебя, даром тебе это не пройдет», — думал он и от ярости скрежетал зубами.

Китела сидел в стороне, злой и надутый. Он силился отогнать властно вселившуюся вдруг в душу тревогу. Будучи одним из самых зажиточных хозяев на селе, он в свое время даже не снисходил до разговоров с Киндзигапо, считал ниже своего достоинства здороваться с ним! Мог ли он тогда подумать, что они станут сообщниками и будут встречаться на тайных сходках. А теперь этот обнаглевший подонок держится с ним на равной ноге! «Гнусный негодяй!.. Не связан ли он с руководителями артели? — думал Китела. — Опутает нас, как паук, а потом предаст... Разве сейчас можно на кого положиться?..»

Гвинаура тоже был озабочен, он все силился понять, как могло случиться, что он оказался с Кителой и его шайкой в заговоре против артели.

До сегодняшнего дня он стоял на распутье, его обуревали сомнения — прав ли он в своих поступках. Не хотелось признаваться самому себе, что дела артели интересуют его. Вначале он не мог представить себе, как это можно виноградник и сады сделать общими, и поэтому решил сперва передать артели лишь своих лошадей. Но каких? Пороdistых, чистокровных! И что же? Колхозники впрягают теперь его лошадей в разбитые телеги вместо того, чтобы беречь и холить их, как это делал он, Гвинаура. При этой мысли у него сердце сжималось от боли и отчаяния. Гвинаура метался между двумя чувствами — ненавистью к артели и робкой верой в ее будущее. Но сильнее всего оказался страх за свой виноградник, он и привел Гвинаура на тайное совещание заговорщиков...

Легкомысленное поведение Кителы отрезвило его, на многое открыло глаза. Гвинаура думал прежде, что Китела серьезно озабочен судьбой своего хозяйства, а на деле оказалось, что этот степенный хозяин в такую решающую минуту способен спорить с этим подонком Киндзигапо из-за какой-то вдовы. Гвинаура не был близко знаком с Мелано, но он недолюбливал Джамбара, и Мелано сегодня тоже стала ему противна.

Что же касается Мелано, то можно точно сказать: она шла на это совещание с определенным намерением — любой ценой вернуть себе джамбаровский виноградник, независимо от того, будет ли в деревне колхоз или власть помещика. Мелано совсем решила было уйти, но пришлось остаться, чтобы довести дело до конца. Она сидела неподвижно, глубоко задумавшись. На глаза навернулись слезы. Ей стало жаль себя. Чего она добилась? Жизнь вытравила из ее сердца все чувства...

Наконец Гвинаура прервал молчание.

— Во всяком деле, — сказал он, — нужны дружба и согласие. У нас ничего не получится, если за нами не пойдет народ. — Тяжелый вздох вырвался из его груди.

— Конечно, особенно надеяться на это не приходится, — заметил Китела, — может, село пойдет за нами, а может, и не пойдет. А нас-то — двоих-троих — сразу раздавят. Словом, сделать мы можем немного, но с руководителями уж рассчитаемся. Отослать бы их к праотцам, а там будь что будет!

— Ну нет, брат, — вмешался в разговор Киндзигапо. — Я не согласен на это. Небось, Карума, этот ананиевский щенок, уже разнюхал все о нас, и пока мы тут лясы точим, они думают, как бы нас сцапать.

— Карума страшнее своего отца, — сказал Китела. — Глаза, гово-



рят, у него такие, что, как взглянет на человека, — тот все, как на духу, выложит. Ох, добраться бы мне до отца с сыном...

— А Гегена, второй сын, разве лучше? В сельсовете сидит! — В голосе Мелано послышалась зависть. — Они счастливыми родились, вся семья Анания пользуется нашим добром, где же им о других помнить...

— Верно сказано, — поддакнул Киндзигапо.

— Взяткой и в рай дорогу вымостить можно, — белые зубы Кителы блеснули в насмешливой улыбке. — Видно, Анания знает это — ко всем подлачился, подластился, подыгрался и, глядь, в руководители выскочил да и сыновей своих пристроил. Вот как надо устраиваться. И в драку ни с кем не надо вступать, скрываться не от кого и ножей по ночам точить не приходится. Вот оно, как умным-то быть!..

— Нет, я не могу с тобой согласиться, — прервал его Гвинаура, — Анания не лжет никогда. Разве он не первым на селе признал артель и по-настоящему болеет душой за ее дела. И не удивительно, что видит в нас врагов артели и своих врагов. Анания — сын Харебы, а Харебу кто не помнит: на всю Кахетию он славился своим трудолюбием и прямоотой.

— И жена ему, Магдана, такая же работающая попалась, пошли бог гром и молнию на ее голову, — затараторила Мелано. — Соседям от нее нет никакой пользы.

— Хорошо они семьей живут, дружно, — задумчиво проговорил Киндзигапо, — а я вот все ем хлеб с чужого стола...

Гвинаура потребовал соблюдать тишину, а сам крадучись направился в сторону, где находился Баса. Вскоре оттуда донеслись сердитые голоса.

— Надейся на тебя после этого, сукин ты сын, — ругался Гвинаура, волоча за шиворот Баса, — подхожу к нему, а он спит, как убитый, — шумно возмущался он. А потом как-то сразу сник и, обращаясь к Кителе, грустно сказал:

— Оба они — и Баса и Киндзигапо — прихлебатели, кто им больше даст, к тому они и пойдут. Надо нам подумать, Китела, как дальше быть... Стоит ли игра свеч?

— Что ты говоришь? — вскипел Китела, — сложить оружие, сдаться?! Нет, Гвинаура, с Советской властью меня ничто не примирит.

#### ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Однажды Анания пригласили на свадьбу к криворотому Фоме. Он решил пойти. «Может, хоть там, на свадьбе, — думал он, — удастся напасть на след преступников, ставших причиной гибели Ладо».

Отца Фомы Хвтисо знали на селе как угрюмого, неприветливого человека, многие даже старались избегать его, но на свадьбу сына пришли все, кто был приглашен. Хвтисо не вступал в артель, но и с кулаками не водился, так что никто не знал, — кому он враг, а кому друг.

Двор Хвтисо был набит гостями, как подсолнечник семечками.

— Едут! — закричал кто-то, и в распахнутые ворота под звуки выстрелов вкатила коляска, запряженная тройкой. Шум, крики, веселая суматоха заполнили двор. Лишь Хвтисо по-прежнему ходил сумрачный, ни разу даже не взглянул на молодоженов.

Гости продолжали прибывать, но никто не решался первым сесть за стол. Каждый пропускал вперед другого, сам же жался в сторонку, каждый ждал, когда хозяин подойдет к нему и пригласит.

Откуда-то донеслись удары доли и звуки гармонии, зовущие на тан-

цы. Хозяин потерял терпение и, метнув сердитый взгляд на гостей, про-  
басил:

— Что же вы, люди добрые, коли уж честь оказали и пожаловали  
на свадьбу моего сына, извольте садиться за стол. Не могу же я тащить  
вас поодиночке, как ребят малых.

Кое-кто несмело двинулся с места, потянулись остальные, и скоро  
все, подобно пчелиному рою, устремились к столам. Расселись по поряд-  
ку. Свободным было только место тамады. Гости смотрели на Хвтисо  
вопросительно-ожидаящим взглядом. Наконец хозяин дома наполнил  
небольшой рог вином, прокашлялся и степенно произнес:

— Дорогие гости, поднимем бокалы и поздравим нашего любезно-  
го Кителу с избранием тамадой.

На свободном месте вдруг появился Китела, затянутый в новую  
чоуху, статный и ладный, со сверкающими глазами.

Кимпала не преминул шепнуть Анания:

— Голову наотрез даю, что они в сговоре и что-нибудь хотят под-  
строить нам под шумок.

Тамада поднял два больших рога, наполненных вином, и начал:

— Предлагаю выпить за здоровье молодых! Пусть живут в радости  
и согласии и продолжают род человеческий. Пожелаем им, чтобы горь-  
кая участь, выпавшая на нашу долю, не постигла их. Осушим бокалы в  
честь наших молодых!

Хор запел «Мравалжамьер», Китела опрокинул на ладонь пустой  
рог и многозначительно посмотрел в сторону Анания.

Все выпили за здоровье молодых.

Тамада обратился к Анания и послал ему два рога.

— Нет! — вскочил с места Кимпала. — Этак недолго спить че-  
ловека!

— Садись! — дернул его за рукав Анания, краснея от досады. А  
Китела бросил вызывающе:

— Не можешь пить, не надо было и на свадьбу ходить!

— Кто тебе сказал, что не могу? — обиделся Анания. Он поднялся  
и громко крикнул, обращаясь к тамаде через весь стол: — Китела, ты  
пьешь тосты сразу из двух рогов, не так ли?

— Да, из двух, — самодовольно подтвердил тот.

— Давай-ка перейдем на четыре, — предложил Анания.

— Пожалуйста, хоть из кувшина, — засмеялся Китела.

— Только с условием, — сказал Анания, — тамада должен пить на-  
равне со мной.

Китела не сразу нашелся что ответить.

— Что, уж не испугался ли, соседушка? — смеялся Анания. — А  
ведь умелый винодел и пить должен уметь.

Пришлось уступить.

— Роги сюда! — азартно крикнул Китела хозяевам.

Кимпала поминутно дергал Анания за рукав и что-то шептал ему.

— Отстань от меня, — потерял терпение Анания. — Я знаю, что де-  
лаю! Вино развяжет языки...

— Принимаю! — едва сдерживаясь, закричал тамада. Пир раз-  
горелся. Полные роги переходили из рук в руки. Вдруг в самом разгаре  
веселья кто-то обмолвился о вырубленном винограднике. За столом ра-  
зом наступила тишина. У Кителы, произносившего очередной тост, по  
спине побежали мурашки, и рог выпал из рук прямо на подвенечное  
платье невесты. Подол платья окрасился в гранатовый цвет.

Анания не сводил глаз с Кителы, а тот, не поднимая головы, суетил-

ся возле невесты, принося ей извинения. «Попался», — мелькнула мысль в голове Анания. Громко, во всеуслышание он сказал:

— Наш тамада крепок и умел. Но как же это он полный рог опрокинул?

— Что же ты молчишь, Китела, и глаз поднять не можешь? Уж не ты ли виноградник вырубил? — кричал Кимпала.

Дерзость его ошеломила всех, а Китела, к удивлению гостей, улыбнулся, покачал головой и дружелюбно обратился к Анания:

— Чего тянешь? Пей скорее!

Это было похоже на отступление.

Китела покорно улыбался. Потом неожиданно затянул застольную. Его было поддержали, но скоро песня оборвалась.

Китела как опытный тамада прервал затянувшееся молчание.

— Люди добрые, — крикнул он. — Нам предстоит веселиться до утра. Сделаем сейчас передышку. Пройдемся, подышим чистым воздухом, а там снова сядем за стол со свежими силами. Тогда, Хвтисо, береги свой погреб!

Гости охотно поднялись из-за стола. Но произошла заминка. У самой двери на стуле устроился Кимпала и, подложив руку под голову, безмятежно храпел. Тот, кто был поближе к двери, тормозил его — вставай, мол, дай дорогу. Но Кимпала не шевелился.

— Вставай, ишь разлегся! — кричали стоявшие в самом конце комнаты.

Однако храп Кимпалы перекрывал их голоса.

— Вот тебе на, да он не слышит!

— Чего с ним возиться, поднимите со стулом, да и вон! — крикнул сердито Китела.

Несколько человек навалились, но так и не смогли сдвинуть его с места.

Гости толпились в зале, молодежь хохотала до упаду. Хозяин хмурился — он был рад и не рад этой заминке.

В доме было душно. Веселый смех стал понемногу затихать, лица досадливо вытянулись, в голосах слышались недовольные нотки.

— Тамада, у нас горло пересохло! — задорно крикнул Анания. — Или у нашего хозяина все вино вышло?!

Китела прикинулся глухим. Часть гостей поддержала Анания и вернулась к столу. Анания потребовал подать турий рог.

Наконец Китела решил отступить, сославшись на головную боль. Его место занял Анания.

Веселье продолжалось. Громче грянула плясовую гармонь под аккомпанемент доли. Какой-то статный малый вскочил на стул и, стоя на носках, начал вытворять чудеса. На смену кахетинской «Мравалжамьер» неслась «Замтари». Чей-то высокий голос начал протяжно тянуть «Вчера семеро гурджаанцев». Озорники в разных концах стола перебивали друг друга частушками...

Что ты съел, то твое, вай, вай...

А что не успел, то пропало, вай, вай...

Мешались песни, звучали молодые и старые голоса, а гости, в узор уставившись на Кителу, припевали:

Если хочется тебе,

Чтоб кулак повесил нос,

Ты, товарищ, не теряйся —

Пригласи его в колхоз.

— Эй, Китела, подтяни, да басом, басом! — подзадоривал его Анания.

Китела сдержанно улыбался, пряча в глазах ненависть и презрение. Уже давно он поглядывал на большую лампу, висевшую над столом. Угрюмый хозяин глазами подал ему знак. За столом назревал скандал. Один из дружков Кителы приподнялся со стула и резко крикнул Анания:

— Ты не тамада, а пустой крикун!

— Эй, малый, опомнись! — прикрикнул на него Анания.

— Пошел вон, артельный червь! — размахивая кулаками, крикнул косоротый.

Раздался звон разбиваемой посуды, невеста, удерживая Кителу, вцепилась в него руками.

Анания попытался выйти из-за стола, и в этот момент увидел, как Кимпала швырнул в потолок пустую бутылку. Лампа мгновенно погасла. Все погрузилось в темноту. Кто-то выстрелил, кто-то истошно молил о помощи. Народ метался, опрокидывая столы, стремясь найти выход.

— Прыгайте в окна! — крикнул кто-то.

Анания бросился к окну. Только он успел выскочить во двор, как окно захлопнулось, щелкнул крючок.

В лунном свете Анания успел заметить Хвтисо, прислонившегося в спокойной выжидающей позе к столбу у навеса перед домом.

«Он в сговоре с кулаками!» — мелькнула догадка в голове Анания. Из дома донесся крик: «Сбежал, собака!»... — Анания понял, что это о нем. На всякий случай нащупал в кармане револьвер и осторожно вышел на шоссе. Поблизости раздались шаги. Анания схватился было за револьвер, но перед ним возник Кимпала.

— Жив? — обрадовался Анания.

— Как видишь, — улыбнулся ему Кимпала, — Не разбей я лампу...

— Ты был прав, Кимпала: Хвтисо заодно с кулаками.

— Они, наверное, теперь простить себе не могут, что мы убежали! — возбужденно говорил Кимпала.

— Постой, постой, ты лучше скажи, почему тебя с места не могли сдвинуть? — засмеялся Анания.

— А я свой стул к ножке стола привязал. Где уж им, пьянчугам, заметить было!

— Ха-ха-ха! — расхохотался Анания от всей души, и на его обычно озабоченном лице появилось выражение беспечной удали.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### 1

Фома пригласил Гвинаура на свою свадьбу от чистого сердца, но сосед почему-то не пришел. Это искренне огорчило Фому. Гвинаура же с удовольствием пошел бы на свадьбу (он любил повеселиться и никогда не пропускал удобного случая), но на этот раз ему не хотелось встречаться с Кителой. Они и раньше недолюбливали друг друга, а после создания колхоза отношения между ними обострились еще больше.

Одна мысль не давала покоя Гвинаура — как бы забрать из колхоза своих коней.

### 2

Кимпала стал сторожем колхозного стада, для которого был выстроен большой загон.

— Не нравится мне этот Гвинаура, — пожаловался он как-то Анания, — все около своих коней вертится. А вдруг он загон поджечь задумал?

— Вряд ли. Но на всякий случай подпусти его поближе к лошадям, а сам проследи...

— Пустить прямо в конюшню? — вытаращил глаза Кимпала. — Врага? Нет! Ни за что!

Анания понял, что спорить бесполезно, и как-то, отослав Кимпала покараулить дальние виноградники, сам занялся колхозным загонном.

Два дня подряд Гвинаура ходил вокруг загона, что-то выслеживая. На третий он обратился прямо к Анания, который в это время задавал скотине корм.

— Здорово, Гвинаура! — приветствовал его Анания. — Все беспокоишься, хорошо ли кормят твоих коней колхозные пастухи?

Гвинаура угрюмо молчал.

— Лучше бы, — продолжал Анания, — сам ты и занялся бы ими — никто не помешает.

Гвинаура долго молчал, держась за перекладины загона, и наконец заговорил:

— Всем известно, что я не вор и не лодырь. Все, что у меня есть, сделано вот этими руками. И лошадей этих я, как своих детей, растил и берег, а у вас они булыжник да песок с реки возят. Я такой же крестьянин, как и вы, с раннего детства привык трудиться, не могу смотреть равнодушно на лентяев и бездельников, ненавижу их. Сколько раз видел, как ваши пастухи в траве валяются, а лошади голодные по вытоптанному лугу бродят.

— Торопишься, Гвинаура, — в голосе Анания послышался укор, — тебе хочется, чтобы все сразу устроилось.

— Вы вот меня виноградник сдать уговариваете, а кто же на старости лет будет кормить меня? Почему я должен с каким-то бродягой делить свое добро? У вас получается так: все надо отдать нищим. Да с какой стати я должен делиться своим урожаем со всяким лодырем и оборванцем? — кипятился Гвинаура. — Где справедливость? Вот вы говорите, что мы — богатые и у нас лучшие земли! А почему? Да потому, что мы умеем работать, а они...

— Постой, постой, Гвинаура, — прервал его Анания, — и батраки, которые на чужих полях пот льют, имеют полное право жить по-человечески. А неполадки, которых в нашей артельной работе еще много, мы устраним. Сам знаешь, первое вино всегда немного с кислинкой. Пройдет время, и вино станет густым и терпким...

— Э-э, сколько же ждать? Да меня тогда и на свете не будет.

Гвинаура опустил голову и задумался. Как быть? С кем идти? На чьей стороне правда?..

#### ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Гвинаура решил съездить за глиной на карьер к Алазанской долине: в марани треснула стена, надо было починить. Он запряг пару волов, прихватил с собой заступ с лопатой и тронулся в путь. Негромко, однообразно поскрипывали колеса. Убаюканный этим поскрипыванием, пригретый горячим утренним солнцем, Гвинаура дремал на арбе, свесив босые ноги. Какой-то шум разбудил его. Еще издали узнал он Кителю, который оживленно разговаривал с кем-то. Гвинаура сейчас

вовсе не хотелось встречаться с ним. После памятного разговора с Анания в нем происходила какая-то странная перемена. Мысль о новой жизни неосознанно зрела в нем, переполняя сердце ожиданием чего-то доброго и хорошего. Встреча с бывшим дружкой была совсем не кстати. Но быки сами привычно шли ровной дорогой. Не поворачивать же от самого карьера обратно! Гвинаура остановил волов, сошел с арбы, поздоровался. Теперь он увидел Баса и Киндзигапо, разлегшихся под кустами.

— Здравствуй, Гвинаура, — приветствовал его Китела, — и ты за глиной? — спросил он. — Эх, только один этот клочок земли и остался, где мы еще можем разжиться глиной хотя бы на пару кирпичей.

Гвинаура ничего не ответил.

— Что ж ты молчишь, как сыч? Вообще замечаю я: за последнее время стал ты такой неприветливый, с нами и говорить не желаешь. В артель что ли собираешься вступить?

Гвинаура промолчал, достал заступ и принялся долбить отвердевшую глину.

Некоторое время все четверо молчали, каждый думал о своем. Только Китела не мог успокоиться, он то горячо брался за работу, то застывал в бездействии. После свадьбы косоротого Фомы он не находил себе покоя. Но не посрамление на свадебном пиру бесило его — он простить себе не мог, что упустил такой подходящий случай отделаться от врага. Гвинаура он считал своим единомышленником и ждал от него поддержки. Когда молчание стало тягостным, Китела, не выдержав, опять обратился к Гвинаура:

— Вот я замечаю: как только в сердце человека заведется какая-нибудь червоточина, тут уж не жди покоя. Вот ты, Гвинаура, к примеру, не подумал хорошенько и отдал своих лошадей в артель, а теперь мучаешься...

Гвинаура положил заступ на край ямы, аккуратно отряхнул руки и выпрямился.

— Куда народ пойдет всем миром, туда и я, — ответил он решительно. — Не жить же человеку одному, как черту, на своей кочке...

— Разве ты одинок? — возмутился Китела. — А мы-то, твои друзья, не в счет?

— Сколько же вас? Раз, два и обчелся. А ты послушай, Китела, о чем говорят на сельской площади. Ведь без малого все село объединилось в артель. И наступит день, когда вы окажетесь отгороженными от жизни.

— Об этом ты не тужи!

— Как же не тужить! Дардакашвили, Анджикашвили, Читимамидзе, Икричанидзе — все уже вступили в колхоз. Да они только дохнут на вас и сдунут, как пыль, со своего пути.

— Напуган ты кем-то, Гвинаура, — засмеялся Китела. — Может, напомнить тебе, что ты раньше говаривал.

— Эх, то было раньше, Китела! Время, оно, видишь, не ждет — все меняется.

Баса и Киндзигапо работали в стороне, не подымая головы, но напряженно прислушивались к разговору. Солнце палило нещадно, над головами клубилась сухая желтая пыль, по лицам работающих струился пот.

В работе время шло быстро. Незаметно подкрался вечер, солнце скрылось за горой, сумерки окутали землю. С первой звездой Гвинаура остановился: «Шабаш!» Он направился к колодцу набрать кувшин-

чик воды. Потом все расселись и принялись за ужин. Киндзигапо явно был не в духе, грубо подшучивая над Баса, придирался чуть ли не к каждому его слову. Гвинаура с недоумением смотрел в его сторону. Он даже вздрогнул, неожиданно встретившись глазами с ненавидящим взглядом Киндзигапо. Гвинаура тотчас отвернулся — ему стало не по себе. С надеждой посмотрел он на Кителу, но снова холодный, безжалостный взгляд был ему ответом. По спине Гвинаура пробежали мурашки, кусок застрял в горле. Он встал и торопливо начал собираться в обратный путь.

Остальные трое продолжали быстро поглощать свой ужин, то и дело недружелюбно поглядывая на Гвинаура, суетившегося подле своей арбы.

— Что же ты молчком уходишь? Даже попрощаться не хочешь? — глаза Кителы злобно поблескивали.

— Я... ничего... — неуверенно отозвался Гвинаура.

— Постой! Постой! — вскричал Китела, стремительно сорвавшись с места. — Ты чего это лисой за нами ходишь?.. Шпионом заделался? Следишь за нами по поручению артели?..

— Что ты заладил: «артель», «артель», — повысил голос Гвинаура. — Если хочешь знать — скажу напрямик, артель мне нравится. На миг воцарилась напряженная недобрая тишина.

— Зачем же ты пришел сюда? А? — побелевшими губами прошептал Китела.

— Во всяком случае не к тебе пришел. Алазанская долина широка и просторна, — резко ответил Гвинаура и, круто повернувшись, пошел за волами.

«Алазань-то просторна, а для тебя и колодца будет довольно!» — мелькнуло у Кителы. Он подмигнул Баса и Киндзигапо. Те понимающе переглянулись, поднялись и встали по бокам крестьянина. Потом все трое навалились на Гвинаура.

— Да вы с ума сошли! Образумьтесь! — кричал Гвинаура, стараясь увернуться от сыпавшихся на него ударов. Повалив, его топтали ногами до тех пор, пока он не потерял сознание. Потом, избитого и окровавленного, поволокли к колодцу и еще живого сбросили вниз головой.

Внезапно, тотчас же вслед за глухим всплеском, грянул выстрел, и Баса уткнулся носом в землю. Киндзигапо вскочил на коня и бросился вслед за Кителой, который в мгновение ока успел исчезнуть с места преступления.

— Удрали гады, проклятые! — закричал нивесть откуда появившийся Кимпала и бросился к колодцу.

— Гвинаура, — позвал он дрожащим голосом и помолчал, дожидаясь ответа. — Несчастный! Если бы ты послушался меня, может, и не попал бы в их лапы. Э-эх! — вздохнул он с сожалением, погрозил кулаком в темноту. — Ничего, скоро всем конец! Слышите, гады!

#### ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

#### 1

Китела понял, что на этот раз ему не уйти от расплаты: Кимпала выдаст его. Оставалось одно: покончить и с Кимпалой, и с Анания, самым ненавистным для него человеком на селе.

Той же ночью, незадолго до рассвета, Анания и Кимпала собрались отправиться в районный центр, чтобы сообщить милиции о преступлении. Ила стал проситься с ними.

Анания сначала даже слышать об этом не хотел, но, вспомнив рассказ Ила об угрозах сыновей Кителы, подумал, что с отцом мальчику, пожалуй, будет безопаснее.

— И зачем брать с собой ребенка? — ворчал Кимпала. — Не на прогулку идем...

— Дядя Ладо никогда не звал меня ребенком! — обиделся Ила.

— А как он звал тебя?

— Товарищ! — В словах мальчика зазвучала гордость.

— Молодец, Ила! — похвалил Кимпала.

Мальчик не отставал от отца ни на шаг — боялся, как бы не ушли без него. Анания и Кимпала тихо переговаривались о чем-то. Скоро все трое легко и уверенно шагали в темноте знакомой проселочной дорогой. Потянуло предутренним холодком. Путники выходили уже на шоссе, когда раздался сухой треск.

Анания хорошо знал этот звук взводимого курка и схватился за револьвер. Ила побежал вперед. Кимпала инстинктивно стал тащить Анания назад, чтобы заслонить его собой. Внезапно несколько ружейных выстрелов разрезали предрассветную тишину. Кимпала повалился ничком на землю, потянув за собой Анания...

...Анания шевельнулся и провел по лицу рукой. Да, он жив, только сильно горит левая рука чуть выше локтя. Рядом — холодеющий труп Кимпала. Анания в ужасе отпрянул, вскочил, и вдруг страшная догадка обожгла мозг. Он кинулся вперед, сделал два шага и остолбенел: на земле с простреленной головой лежал Ила, его сын. Застонав, как раненый вол, Анания свалился на остывшее тело мальчика.

2

Из Сигнахи с нарядом милиции прибыл следователь Хирсели. Он не первый раз сталкивался с преступлениями подобного рода и знал, что рукой преступника руководила классовая ненависть. Оставалось найти виновных.

Киндзигапо на допросах у следователя держался развязно.

— Где ты находился в ночь убийства? — в который раз спрашивал Хирсели.

— В Лагодехи.

— Зачем ездил туда?

— Табаку купить.

— Домой вернулся ночью?

— Да... Нет, нет, — постарался исправить ошибку Киндзигапо.

— А где же ты был?

— Остался в Лагодехи.

— У кого?

— Ни у кого. Я бедный, одинокий человек, и в Лагодехи у меня нет ни родственников, ни друзей. Я спал под мостом.

— Может, тебе не спалось и ты предпочел вернуться в Вардиани?

— Я же сказал. Нет...

— Вспомни хорошенько.

— Мне нечего скрывать. Тоже, нашел разбойника! — насмешливо заметил Киндзигапо.



— Этот платок тебе знаком? — Хирсели развернул перед Киндзигапо женский головной платок.

Киндзигапо вздрогнул, но тотчас нашелся:

— Подумаешь! Стану я за бабьими платками гоняться.

Но Хирсели заметил, что упорство преступника сломлено. Киндзигапо сник. У него дрожала челюсть, лоб покрылся мелкими капельками.

— Ничего я не знаю, оставьте меня в покое... — лепетал он.

— Напрасно ты отпираешься. Мы уже все знаем — Китела рассказал нам, как все было.

— Китела? — Киндзигапо остолбенел...

В комнату ввели Кителу.

Два «старых друга» с ненавистью смотрели один на другого в звериной ярости.

— Ну, поговори со своим «соратником», — обратился к Киндзигапо следователь.

— Что между нами может быть общего? — возмутился Киндзигапо. — У меня кишки сводит от голода, а он не знает, куда вино девать. Готов хоть в землю лить.

— А тебе-то что, сукин сын? — буркнул Китела надтреснутым басом. — Мое вино, что хочу, то и делаю с ним.

Вдруг Киндзигапо, безнадежно махнув рукой, с плачем бросился в ноги следователю.

— Начальник, дорогой, пожалей, не губи меня...

— Пожалеть?!

— Не такой уж я плохой человек, бес меня попутал.

— Отвечай, какая женщина была с вами?

— Была, но кто она — не знаю.

— Совсем незнакомая?

— Темно было, Китела с ней разговаривал, а я ее голоса и не слышал.

— Не ври, — Китела даже привстал с места, но, спохватившись, опять сел. — Пело была с нами, — коротко сообщил он следователю.

Когда в комнату ввели Пело, Хирсели спросил:

— Где ты была в ту ночь, когда произошло убийство?

— Дома сидела, где же мне еще быть? Носки вязала. — Пело задумалась, припоминая подробности. — К Мелано я заходила, дома был только больной Степане...

— Ты говорила с ним о чем-нибудь?

— Про Мелано спросила. Он сказал, за водой пошла.

— Что ты мелешь, баба, ведь ты была со мной! — накинулся на нее Китела.

— Во сне ты меня видел, что ли? — Бедная женщина совершенно растерялась. Неужели ее оговорят, неужели следователь не поверит ей? Ведь она правда ничего не знает обо всем этом. Но как убедить этого человека...

— Иди, Пело, домой, — немного помолчав, сказал Хирсели. — Ты свободна.

Киндзигапо молча нервно покусывал усы. Его широкое, заросшее черной щетиной лицо пылало. Глаза косили сильнее обычного.

Китела беспокойно ерзал на месте.

Хирсели вышел. Арестованные остались одни. Молчание длилось недолго. Под Киндзигапо скрипнул стул.

— Попался! — хихикнул он.

— Ты-то чему рад, собачий сын? Мне будет плохо — и тебе <sup>не</sup> сдобровать.

— Мне терять нечего, кроме своей головы. А вот что с твоими <sup>твоими</sup> ~~твоими~~ <sup>ви-</sup>ноградниками будет?!

— Я-то знал, что делаю, — свое добро защищал, а ты чего совался, объедков с чужого стола захотелось?

Киндзигапо ничего не ответил и повернулся к стене.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Бессмертие

глава пятнадцатая

#### 1

Безбрежные поля тянутся с востока на запад вдоль Алазани. На их привольных просторах белеет извилистая шоссейная дорога, словно молоко, разлитое по зеленой траве.

По самому краю неба одиноко плывет облачко, слегка розоватое под первыми лучами восходящего солнца. Над лугами еще висит туман, сползающий с гор.

Окутанные золотистой пылью снопы свежескошенного хлеба отбрасывают ровные ряды длинных теней.

Ближе к Цнори картина меняется. Здесь вырос населенный пункт с новыми домиками, одинаковыми, как цыплята одной наседки, и с заасфальтированной площадью в центре, которая делает его похожим на городок.

Поезд гудком возвестил о своем прибытии. Находившиеся на платформе люди зашумели, засуетились...

Нино вышла из вагона. Телеграмму о ее приезде в совхозе, наверное, уже получили. Но как ей узнать того, кто встречает ее? Нино отошла в сторону и стала в тени липы — лучше подождать, пока схлынет толпа.

Вдали показались двое. Это были Анания и Котэ, его младший сын. Отец был в черной сатиновой косоворотке. На макушке чудом держалась вылинявшая на солнце войлочная тушинская шапочка. Крутые плечи точно рассекали воздух на ходу. Поглядишь на такого со стороны и подумаешь: «Верно, хорошим борцом был он в свое время».

На сыне был синий шерстяной костюм, сшитый по последней моде. Новые ботинки скрипели так, что прохожие невольно оглядывались.

— Ты бы где-нибудь по луже прошелся, сынок, что ли, — подошвы перестали бы скрипеть, — не выдержал Анания.

Все, кто встречался с Анания на станции, здоровались с ним почтительно, с уважением. Анания радушно отвечал на приветствия, иногда шутя, прикладывая по-военному руку к виску, иногда приподымая двумя пальцами шапочку на голове. Другьям-одногодкам он степенно кивал головой.

Сошедшие с поезда пассажиры разошлись. И только в самом конце платформы, нерешительно оглядываясь по сторонам, стояла девушка.

Когда Котэ подошел к Нино, их взгляды встретились. Анания помахал ей рукой и издали закричал:

— Вы, должно быть, к нам в совхоз приехали? Вас Нино зовут? — Нино робко улыбнулась в ответ.

— А это мой сын Котэ, — продолжал, подойдя, Анания. — Знакомьтесь!

— Вы за мной? А я испугалась! Думала, меня никто не встретит, одной добираться придется, — приветливо заговорила девушка.

Все уселись в машину. Котэ резко рванул с места, и она помчалась по ровному, прямому шоссе.

Нино сидела рядом с Котэ. Анания расположился на заднем сиденье, изредка объясняя приезжей:

— Вот виноградники нашего совхоза, созданного несколько лет назад. Там участок ркацители, там телиани, дальше мцване...

Нино смотрела на нескончаемые ряды лоз, бегущие по обеим сторонам дороги.

Спидометр показывал сто километров в час. Вдруг перед ними прямо посреди дороги засверкала, как озеро, большая лужа. Котэ тут же затормозил, но машина не сразу замедлила ход. Двумя огромными крыльями взметнулись к небу брызги, резко взвизгнули тормоза. Правое переднее колесо налетело на острый кусок железа. В наступившей тишине слышен был только свист лопнувшей камеры.

— Я хотела предупредить, чтобы вы объехали лужу, да не успела. Очень уж вы быстрый, — от души рассмеялась Нино.

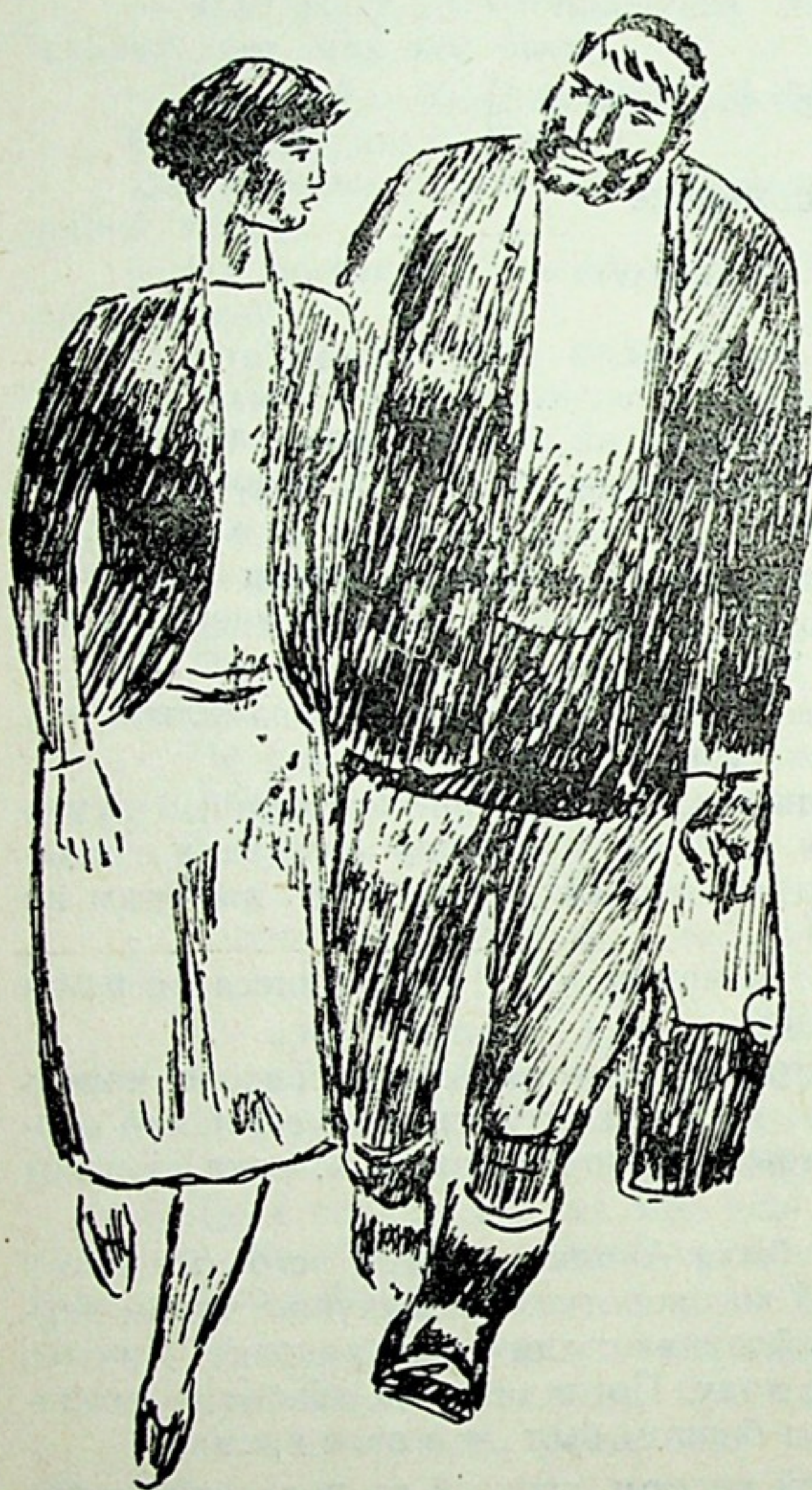
— Эх-хе-хе! Делать нечего, сынок, то мчался ты, как бешеный, а теперь придется вылезать, — сокрушался Анания.

Нино и Анания отошли в сторону и присели на обочину дороги. Котэ, засучив рукава, принялся налаживать запасное колесо.

— А что если мы не будем дожидаться, пока ваш сын починит машину, и немного пройдемся пешком, — предложила Нино.

Анания посмотрел на сына: смущенный, тот торопливо менял покрышку.

— Котэ, — позвал его отец, — здесь уже недалеко, мы пойдем пешком.



Легкий ветерок тянул со склонов гор, обступивших Вардиани, словно двугорбые верблюды. Над дворами разнесся предрассветный крик петухов, восседавших на частоколах и гордо озиравших свои владения.

Солнечные лучи украдкой проникли в комнату Нино. Она сонно потянулась в постели, приподнялась и выглянула в окно.

Там, за окном, склон горы, густо заросший лесом, круто тянулся к небу. На верхушках деревьев еще оставались белоснежные клочья тумана.

Как только Нино показалась из своей комнаты, навстречу ей поспешил Анания.

— Идем, дочка, позавтракаем, а потом пройдемся по селу, познакомься со всеми, посмотри, где работать будешь, — предложил он.

Еле слышный запах душистого сена стоял над селом. Где-то в вышине гудел самолет, и, словно соревнуясь с ним, над деревьями жужжали пчелы.

Дом Анания стоял на прочном каменном фундаменте. В самом центре просторного двора росло огромное тутовое дерево, как бы разделяя двор на две равные части. Слева за домом виднелись добротные постройки: свинарник, курятник. Чуть поодаль от них слегка возвышалось над землей тонэ—врытая в землю глиняная печь, в которой пекли шоти-пури. Над тонэ и вокруг него были раскинута плетенки из кизилевых прутьев, на которых сушились на зиму яблоки, персики, груши.

Нино с интересом оглядывала все вокруг, время от времени украдкой поглядывая на Магдану, хлопотавшую по хозяйству. У Магданы было правильное строгое лицо. Тонкий нос с горбинкой. Губы плотно сжаты. Сидевшие глубоко глаза обведены синими кругами. Желтые веки полуприкрыты — Магдана почти не подымала их, словно боясь открыто посмотреть на мир. На висках из-под платка выбивались совершенно поседевшие волосы. Черное платье напоминало о горе, которое пришлось испытать на своем веку этой женщине — четырех сыновей родила и вырастила она, и только один остался в живых.

Анания принес из марани вино в небольшом глиняном кувшине и пригласил гостей к столу. Кроме Нино, к столу подоспел еще и Сандро, главный агроном совхоза.

По правую руку от Нино сел Анания, напротив него — Магдана, около нее Сандро. Одно место оставалось свободным.

Со двора донесся конский топот. Анания вышел на балкон.

— Вот и хорошо, вовремя приехал, сынок! — раздался его веселый голос.

— Здравствуйте! — приветствовал Котэ гостей.

Когда все уселись, Анания заговорил:

— Я приветствую вас, дорогие гости, в нашем доме. Много лет прошло, много бурь пронеслось. Но по-прежнему крепок фундамент, по-прежнему горит огонь в очаге. В моей семье умеют стойко переносить посланные жизнью испытания. Кулаки убили нашего сына Илу, второго сына потеряли на войне. Остался у нас один лишь Котэ, надежда и опора.

— Что же ты забыл про Гегену? — тихо спросила Магдана.

— Нет, не забыл. Как может отец забыть о своем сыне? У него было доброе горячее сердце... Но в тридцать седьмом году Гегену забрали, и с той поры мы о нем не слышали...

Веки у Анания покраснели. В стакан с вином скатилась слеза. Нино взглянула на Магдану: лицо ее оставалось замкнутым и бесстрастным.

— Горе в одиночку, про себя оплакивать надо, — заметила Магдана. — Мы сидим за столом, не надо гостям нашим горем докучать...

— Наши ребята любили петь. А ну-ка, Сандро, выпьем да споем в память о них, — вздохнул хозяин.

3

Ночь. Анания не может найти себе покоя — бесцельно бродит по двору, подойдет к калитке, привяжет собаку к дереву — поближе к воротам. А в памяти встает прошлое... Из четырех сыновей удалось сбегать только Котэ. Это их единственная радость, настоящее и будущее семьи, честь и совесть рода... Как будто только вчера было все это — страшный ливень, безжалостно заливший Харебу, словно и не было на свете этого неумного труженика. А потом разлилась речушка в балке, снесла мельницу, разрушила и затопила ее, унесла с собой мельника Аджиа... Аджиа пел в ночной тишине, мерно стучало мельничное колесо, а молодой Анания сидел в углу и ждал своей очереди на помол, спорил с Гио — уговаривал его не уезжать в город, не покидать деревню: крестьянин должен жить и работать до конца своих дней там, где он родился... Все изменила жизнь, все направила по иному руслу!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Осень властно вступала в свои права. Всю неделю непрерывно лил дождь. На вардианских проселках образовалось сплошное месиво грязи, шоссе размыло. Дни стали короче — стадо возвращалось уже в сумерках.

В совхозе убрали урожай и теперь готовились гнать отары на зимние пастбища.


Анания, то и дело по привычке подкручивая усы, наливал до краев в огромные глиняные чаны, врытые в землю, искристое ркацители. Теперь — самая пора повеселиться с друзьями и соседями, но явился посыльный от директора: поступило задание — собираться на дальние поля со всей бригадой, чтобы наметить новые участки для закладки виноградников.

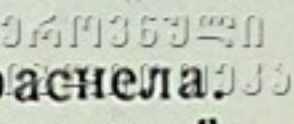
В бригаду Анания попала и Нино. Главный агроном Сандро сказал однажды, что молодым специалистам, если они хотят овладеть своим делом, следует поработать бок о бок с рабочими совхоза.

Нино усердно готовилась к выходу на дальние поля. Она надела специальный костюм — брюки и свитер, натянула толстые шерстяные носки и альпинистские ботинки и в таком виде предстала перед бригадой.

Нино, не замечая улыбок, вызванных ее необычным нарядом, твердым шагом подошла к членам бригады, по-мужски поздоровалась с каждым за руку.

Один пожилой рабочий, не выдержав, посоветовал:

— Ты бы, девушка, хоть воротник расстегнула, а то запаришься с/   
жами — на работу идешь.

Пробежал добродушный смешок. Нино смутилась и покраснела.   
Анания пришел на помощь растерявшейся девушке. Он метнул строгий  
взгляд в сторону шутника, а потом одобряюще сказал Нино:

— Держись, товарищ агроном! Мы в тебя верим. Хороший агроном  
не тот, кто только покрикивает да командует, а тот, кто вместе со  
всеми на работу идет.

2

Сразу после дождей и туманов установились ясные, погожие дни.  
Солнце припекало, как в разгар лета.

Нино сидела на пенке, устремив задумчивый взгляд на участки,  
где намечалась закладка новых виноградников. Солнце и чистый воздух,  
наполненный пьянящими лесными запахами, как рукой сняли уста-  
лость. Блестящей лентой убегает вдаль Алазань, величаво громоздятся  
заснеженные вершины Кавказа. Верхушки деревьев, казалось, упи-  
раются в самое небо, словно поддерживающие свод колонны. Зем-  
ля покрыта золотой парчой желто-багряных листьев. Нино опустила  
глаза, упершись подбородком в ладони, и в глубоком раздумье при-  
слушивалась к свободному дыханию земли.

Незаметно прошел день. К вечеру от Гомборской вершины оторва-  
лась туча и протянулась черной каймой по горизонту. Подул холодный  
ветер.

Рабочие только собрались перекусить после работы, как пошел  
дождь. Все попрятались под палатками в надежде, что дождь вот-вот  
перестанет. Но и спустя час, дождь, подгоняемый ветром, все хлестал  
и хлестал, не ослабевая ни на минуту. В палатки хлынули первые струи.

— Это надолго, — сказал Анания, взглянув на потемневшее не-  
бо. — Надо прятаться. — Подозвав сына, он что-то шепнул ему.

— Нино, — заговорил Котэ, — отсюда недалеко мельница, пой-  
демте туда. Дождю конца не видно, как бы вы не простудились...

Нино попыталась возразить — где, мол, все будут, там и я, — но,  
увидев, что дождь не прекращается, согласилась. До мельницы было  
шагов триста, но идти было трудно, ноги вязли по колено в грязи.

Наконец впереди мелькнул луч света. За густой сеткой дождя ка-  
залось, будто деревья, прихватив свои пожитки, пытаются убежать ку-  
да-то. Мельница гудела, мелко подрагивая.

Мельник с женой радушно приняли молодых гостей, обогрели и на-  
кормили их.

Под монотонный гул жерновов Котэ с Нино просидели на мельнице  
до рассвета. Наконец сквозь тучи прорвались первые лучи солнца. В  
каждом луче, проникшем в темное помещение, легкой кисеей повисла  
теплая мучная пыль. Солнце словно смеялось, наполняя сердце радо-  
стью.

Нино вышла на мельничный двор. Не в силах сдержать радость,  
охватившую все ее существо, она, улыбаясь, потянулась навстречу ве-  
тру, навстречу свету, навстречу утреннему солнцу.

3

Полдень. Бригада Анания завершила работу и собиралась домой.  
Анания и не заметил, как очутился вдали от своих. Глубоко за-

думавшись, шел он по направлению к лесу. В последнее время какая-то внутренняя тревога нарастала в нем. Прищурив глаза, пытливо всматривался он в густую синеву леса, то и дело озабоченно потирая лоб. Анания было уже под семьдесят — возраст, когда человек перешагнул крутой хребет жизни, но сдаваться старости не собирается. Длинный жизненный путь — позади, однако что-то еще осталось не довершенное, какие-то надежды и мечты — не исполненными. Молодость ушла безвозвратно. Не стало троих сыновей. Воспоминание о них всегда будит острую, щемящую боль в сердце. Вот разве будущее принесет радость. Какую же? Котэ, его счастье. И еще — Нино, дочь друга его детства Гио, которая недавно приехала из города... Сам Гио так и не вернулся в родное село, к тому дубу, под которым они вместе играли в детстве, к виноградникам, где пропадали целыми днями в славную пору сбора винограда... Зато Нино уже здесь, и Анания очень ей рад. Если она и Котэ надумают что-нибудь, продлится, еще крепче станет его дружба с Гио...

Анания медленно бредет по тропе. В лесу стоит тишина, лишь изредка нарушаемая птичьим щебетом и далеким голосом кого-нибудь из членов бригады.

Но Анания ничего не слышит, ничего не замечает. Он весь ушел в свои думы. И чудится ему, будто он стоит здесь, по эту сторону леса, а по ту сторону — сама жизнь. Они пристально оглядывают друг друга и неторопливо беседуют:

«— Состарился ты, дружище Анания!

— Нет, пока еще не состарился. Лет десять, не меньше, поработать думаю.

— Но ведь ты, наверное, устал?

— Устал? Да, конечно.

И вдруг новый вопрос — как удар грома:

— А ты счастлив, Анания?

— Счастлив?! Да, конечно. У меня есть все, о чем мечтает человек. Только если бы все сыновья были со мной!.. Один сын вырос у меня... А у Гио дочь... Наши дети должны быть счастливы до конца...

— А ты? Ты недоволен чем-то?

— Нет, я много работал и устал, но по-прежнему люблю тебя, жизнь.

— Но ты на что-то обижен, Анания, — не унималась собеседница.

— А ты зачем подглядываешь за мной?

— Мне интересно узнать, что думает человек, когда ему семьдесят лет.

— Я соткан из корней дуба и в сто лет буду, как кремень!»

В лесу стоит безмолвная тишина. Ни души. Но Анания не чувствует себя больше одиноким. Вокруг толпятся деревья: дубы, дзелква, буки, ясени... Они словно влили в него свои соки, окрылили его. Он стоит, равный им и родной, ушедший могучими корнями в глубь земли, неутомимый, как они, как сама жизнь. В эту минуту он любил деревья, как живых людей, с которыми трудно расстаться. Анания опустился на землю и припал к корням старого узловатого дуба. Ему казалось, что корни вплетаются в его тело и оно наливается силой. «Я соткан из корней дуба и в сто лет буду, как кремень!» — вспыхнуло в его сознании.



Нино не сразу привыкла к сельской жизни. Не раз, глядя на укутанную вечерними сумерками проселочную дорогу, вспоминала она нарядные, сверкающие электричеством проспекты, и сердце начинало щемить. Дни текли по определенному распорядку: с последними лучами солнца в село возвращалось стадо, рабочие шли с виноградников домой, хозяйки заканчивали дневные дела и принимались готовить ужин, ребята за околицей затевали шумные игры. Но со временем Нино привыкла, полюбила все это, и сельские вечера приобрели для нее какое-то особое очарование.

Нино легко сработалась с людьми. Главный агроном совхоза Сандро, человек честный и открытый, хорошо относился к ней. Быстро сдружилась она и с молодежью. Но особенно чувствовалась на каждом шагу забота Анания. Этот пожилой человек чутко угадывал ее настроение, и если что-нибудь печалило или огорчало девушку, Анания всегда находил нужные слова, и на душе сразу делалось легко и спокойно. Нино полюбила его как родного отца, посвящала в свои дела и нередко обращалась за советом.

Анания ко всем в селе относился внимательно и предупредительно, всегда готов был прийти на помощь делом или советом, пожуришь или пошутить. Но в последнее время, оставшись один, он все чаще уходил в свои грустные мысли, неотвязно овладевшие им за последнее время. Эти мысли он скрывал от всех, даже от жены и сына.

Дело в том, что месяца полтора назад, в страдную пору сбора винограда, Анания решил отнести к марани наполненную виноградом пятипудовую корзину. Ноша оказалась непосильной, но Анания из упрямства не оставлял ее. Как хотелось опустить корзину и отдохнуть! Но разве он смог бы поднять ее на плечо снова?! Вот и марани — шагов двадцать до него, не больше. В глазах вдруг потемнело, Анания зашатался и упал. Спелые гроздья винограда посыпались на землю.

В ту ночь он совсем не спал. «Неужели конец?!» — спрашивал он себя, и глаза наполнялись слезами, сердце болезненно сжималось. Ни за что не хотелось признаться в собственной слабости — лучше смерть! Как огромны и бесконечны эти горы, доли, леса!.. И как мал и беспомощен перед ними Анания. Велика была его жажда к жизни, хотелось твердо ступить по земле, чувствовать себя ее хозяином. «Меня не сломишь, я и в сто лет буду, как кремень! Я еще себя покажу!» — грозился он кому-то в темноте. Но словами старость не победить.

Вечера становились короче. С заходом солнца темнота сразу поглощала землю, и Анания чувствовал, что уже не далек закат его жизни... Только в труде находил забвение. Вернувшись с колхозных полей, он шел на свой приусадебный виноградник и, если ночь была лунная, работал до утра. Здесь не нужно было думать ни о чем другом, кроме лоз: они целиком овладевали вниманием, мысли сходились к одному — вовремя подкормить их, поддержать, подлечить... Сколько раз лозы бил град, точила филлоксера, смывал ливень, а они все стоят и стоят, неуязвимые, на своих крепких корнях.

Продолжение следует

---



*Василий Барнов*

## Померкший ореол

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод с грузинского Б. Г а с с а

Рис. Э. Мосева

Автор романа «Померкший ореол», выдающийся грузинский писатель, классик, мастер исторической прозы Василий Захарьевич Барнов (1856—1934) оставил богатое и многообразное наследие. Его перу принадлежат пятнадцать исторических романов, рассказы, стихи, литературно-исторические статьи и монографии о грузинских писателях, исторические и этнографические очерки, учебники по теории литературы, мемуары. Большую часть (шестьдесят пять лет) своей жизни Барнов прожил в условиях самодержавного строя. В своих рассказах он сочувственно описывал жизнь трудового народа — рабочих, крестьян, ремесленников, разоблачал жестокие законы развивавшегося капитализма, разложение и звериную мораль эксплуататорских классов. В исторических романах, составляющих наиболее значимую часть его литературного творчества, Барнов изображал те периоды исторической жизни Грузии, когда грузинский народ поднимался на борьбу за свою независимость, свободу и национальное воссоединение.

Наиболее значительными произведениями Барнова являются исторические романы «Заря Исани», «Георгий Саакадзе», «Хазарская невеста», «Померкший ореол», в которых писатель творчески продолжил традиции грузинской, западноевропейской и русской литературы в этом жанре.

К художественному воспроизведению эпохи Барнов подходил с глубиной и серьезностью философа и ученого-историка. Отображая конфликты, действительно имевшие место в истории Грузии, писатель с исключительной живостью и ясностью показывает людей, чьи имена давно уже стали достоянием книг и преданий, с поразительной тщательностью воссоздает обстановку ушедшего быта. В. Барнов, прежде всего, считается с исторической правдой. Дело не только в том, что почти все его произведения имеют своим истоком конкретный случай, конкретный материал, — главное заключается в том гармоническом синтезе художественной и исторической правды, которого удается добиться писателю.

Отлично сознавая, что высшим мерилom художественности поэтического произведения служит отображение живой действительности, он, вместе с тем, понимает, насколько чуждо этой

художественности протоколирование событий и явлений. Поэтому он раскрывает прошлое в его основных и типических чертах с присущими ему, этому прошлому, социальными и политическими противоречиями.

Прежде чем приступить к написанию романа, Барнов проводил огромную предварительную работу: в его рабочих заметках и набросках мы встречаем планы сражений, генеалогические таблицы, географические карты местностей, где разворачиваются те или иные события его романов, выписки из книг и документов.

Исторический материал дополняется в его романах образцами народного творчества — он широко использует устные предания, пословицы, поговорки.

Характерная черта мировоззрения В. Барнова — патриотизм. И для героев его нет ничего выше и дороже чувства любви к родине. Подобно герою Арчилу («Хазарская невеста»), лучшие из них готовы отдать жизнь за свободу и независимость страны. Героиня «Зари Исани» бесстрашно заявляет рассвирепевшему врагу, что у ее «миджнура» есть единственная «сатрпо» (возлюбленная) — это родина, и к ней устремлены все его думы и заботы. В «Лучезарных» повествуется о том, как при нападении Джехан-шаха на Самшвилдскую крепость его воины с удивлением увидели среди ее защитников героически сражавшихся женщин. Любовь к родине определяет смысл жизни большинства персонажей Барнова.

В своих произведениях Барнов остается по преимуществу романтиком. Об этом свидетельствует характер его повествования, манера обрисовки действующих лиц. В новой грузинской литературе Барнов признан мастером ритмической прозы, одной из сложнейших форм литературного творчества. Со всей полнотой выявив музыкальную природу и богатство древне-грузинского языка, Барнов восхищает читателей богатейшей лексикой, хотя из-за обилия архаизмов современный читатель порой нуждается в специальных разъяснениях.

В историческом романе «Померкший ореол» В. Барнов показывает жизнь Грузии (XVI век), раздробленной феодальными междоусобицами и непрерывными нашествиями врагов. В Тбилиси в это время сидел персидский хан. Дальновидные грузинские политические деятели мечтали об объединении раздробленной Грузии в единое целое. Вокруг этой основной идеи и разворачивается все содержание романа, в том числе судьбы его героев — кахетинского царя Левана, княжны Тинатин, рыцаря Ношревана, Лейл-Кизи и других.

ШАЛВА РАДИАНИ

Между рекой Хино и Черным морем пролег плоский отрог хребта. Правый склон его окаймлен руслом реки, левый полого спускается к морю. Море щедрой рукой осыпало, словно самоцветами, подол горы песком, ракушками, галькой и в приливе нежности с рокотом перебирает их. Сегодня море спокойно: задумчиво смотрит на гору, всплесками волн ласкает ее подножие.

На плоскогорье стоит Аламбари — величественный замок князя Гуриэли. Размерами, правда, он уступает Озургетской крепости князя, но изяществом форм и легкостью все же превосходит ее.

Дворец окружают зубчатые сторожевые башни. Их соединяет широкий балкон, в кружевной орнамент которого весело вплетаются живые цветы. От фасада к морю ниспадает дорожка. Ее с обеих сторон

обступили причудливо разросшиеся могучие деревья — ураганные ветры и жестокие бури вырвали бы с корнем более слабые растения. Другой склон горы устлан пестрым ковром садов, отороченным стройными рядами тополей.

С балкона дворца видно устье Хино. Река кипит и ярится у самого зева моря. Вспененная, она швыряет брызги, стремится дать последний бой неизбежности, продлить хоть на мгновение свое существование. А море равнодушно глядит на жертву, хладнокровно готовится поглотить ее. Глаза и сердце этого титана давно уже привыкли к предсмертным судорогам рек. Множество, великое множество их на веки вечные исчезало в его бездонной утробе.

Полдень был томительно жарким, хотя с моря и струилась прохлада. Даже розы, покрывшие лужайку у дворца, едва-едва шевелились. Воздух был наполнен благоуханием.

Князь Мамия Гуриэли, облокотившись на перила балкона, сидел в кресле и сосредоточенно курил кальян. Из-под расстегнутого архалука выглядывала желтая парчовая рубашка, на которой блестела золотая пуговица. Легкая папанаки<sup>1</sup> съехала на затылок, и завязки ее, стянутые узлом, обвили шею. Смоляно-черные кудри, изрядно тронутые сединой, кольцами лежали на лбу. Борода чисто выбрита, кончики усов капризно загнуты кверху.

Какая-то дума одолевала Гуриэли, и верный слуга его Коция уловил это с первого взгляда. Иначе никакая сила не заставила бы полного жизни юношу стоять вот так неподвижно в углу, уподобившись бездыханному каменному изваянию.

— Леван согласен породниться со мной. Ему по душе пришлись мои соображения. В этом, впрочем, я был уверен. Еще во время войны с карталинским царем Давидом я обиняками дал понять царю Левану, и он сразу смекнул, в чем дело. Все же, видно, ловко передал мои слова Иасэ. Проворный он на язык человек, будто рожден быть послом. А что, если Леван не вник в тонкости моего замысла? Ведь я ограничился лишь только намеком, да и сейчас в письме обо всем не скажешь. Впрочем, не надо торопиться. Вот станет он, даст бог, моим зятем, тогда и раскрою ему душу. Уж я постараюсь сыграть на самолюбии юноши. Скажу царю, мол, сейчас все величие твое — лишь звук пустой. Кто ты? Всего лишь властитель Кахетии! А последуй моему плану и... Действительно, без помощи Гуриэли он или навсегда останется, подвластным грузинскому царю или встанет на путь мятежа и будет называться изменником родины.

Да и мне похвастаться нечем! Что такое представляет сегодня Гуриэли? Всего навсегда владетельный князь Гурии и только! Царь всегда будет считать меня своим подданным и держать в повиновении. Разве пощадил бы меня Баграт, разве сдружился бы со мной, не потесни его Атабег? Да и в дальнейшем не примирится царь с приумножением моих сил. Ни за что не примирится. Постарается улучшить минуту и вновь лишит меня приобретенных земель.

Я должен захватить власть или остаться подданным царя, его подчиненным, его рабом, хоть и почетным, но все же рабом.

Мамия Гуриэли — раб? Немыслимо! Да-а, мне нужны люди, преданные душой и телом. Такие, как кахетинский царь Леван, который станет для меня надежным соратником. Но Тинатин холодно отнеслась к моим намерениям, и это заставляет призадуматься. Холодно — не то

<sup>1</sup> Папанаки — национальный головной убор.

слово, она отказалась наотрез. Удивительно! Наверно, на людях <sup>при-</sup>творяется, следует обычаю. Небось в душе радуется. Еще бы — <sup>царицей</sup>станет кахетинской, супругой молодого венценосца... Все-таки <sup>хороший</sup>юноша Леван, очень он мне тогда понравился...

Размышления князя прервало появление служанок, которые, осторожно приоткрыв дверь, внесли на балкон пальцы.

Появилась и сама княжна Тинатин — бледная девушка с карими глазами. Густые волосы ее были тщательно уложены, и только одна прядь непослушно выбилась вперед. Служанка пододвинула низкий стульчик, и девушка принялась неспеша вышивать узор.

Коция нижайшим поклоном приветствовал появление княжны и вновь замер.

— Что вышиваешь, дорогая, так самозабвенно? — стряхнул с себя думы Гуриэли.

— Воздух, отец, Джуматскому монастырю по обету.

— Благослови тебя господь! Но почему все об иконах и кресте радеешь? В монашки готовишь себя, что ли? Иногда и порезвиться не мешает, поиграть, повеселиться. Не так уж долг век беспечного девичества, скоро вступишь в дом мужа, расстанешься с забавами.

— Спасибо, отец! Я довольна и теперешней моей жизнью, — ответила девушка и еще ниже склонила голову над пальцами.

Во дворе показалась группа всадников. Возглавлял ее юноша в желтом. Заметив на балконе княжну, он спрыгнул с коня, бросил поводья одному из слуг, взбежал по лестнице, преклонил колени, прильнул губами к краю фаты Тинатин. Зарделись щеки девушки, засияли глаза. Юноша благоговейно отступил, сбежал по лестнице, вскочил на коня. Одним броском догнал он княжескую свиту и стал во главе ее.

Едва скрылись всадники, как печальные думы вновь завладели княжной. Вышивая, она тихо пела. Ей вторил гибкий, грудной голос служанки, которая, примостившись у ног княжны, не отрывала от нее глаз.

Коция мог идти сейчас, куда хотел, делать, что хотел, но, замороженный и этим напевом и черными глазами служанки, он стоял внизу, прислонившись к перилам балкона, и смотрел вверх с немым обожанием.

Княжна напевала, и песня ее, наполненная грустью, напоенная слезами, была жалобной и скорбной.

«Что может печалить эту счастливую женщину, почему так горько стонет ее душа?» — недоумевал Коция.

Ему не верилось, что песнь Тинатин была откровением ее сердца, что слова исторгались из глубины души и влекли за собой сокровенные тайны девушки.

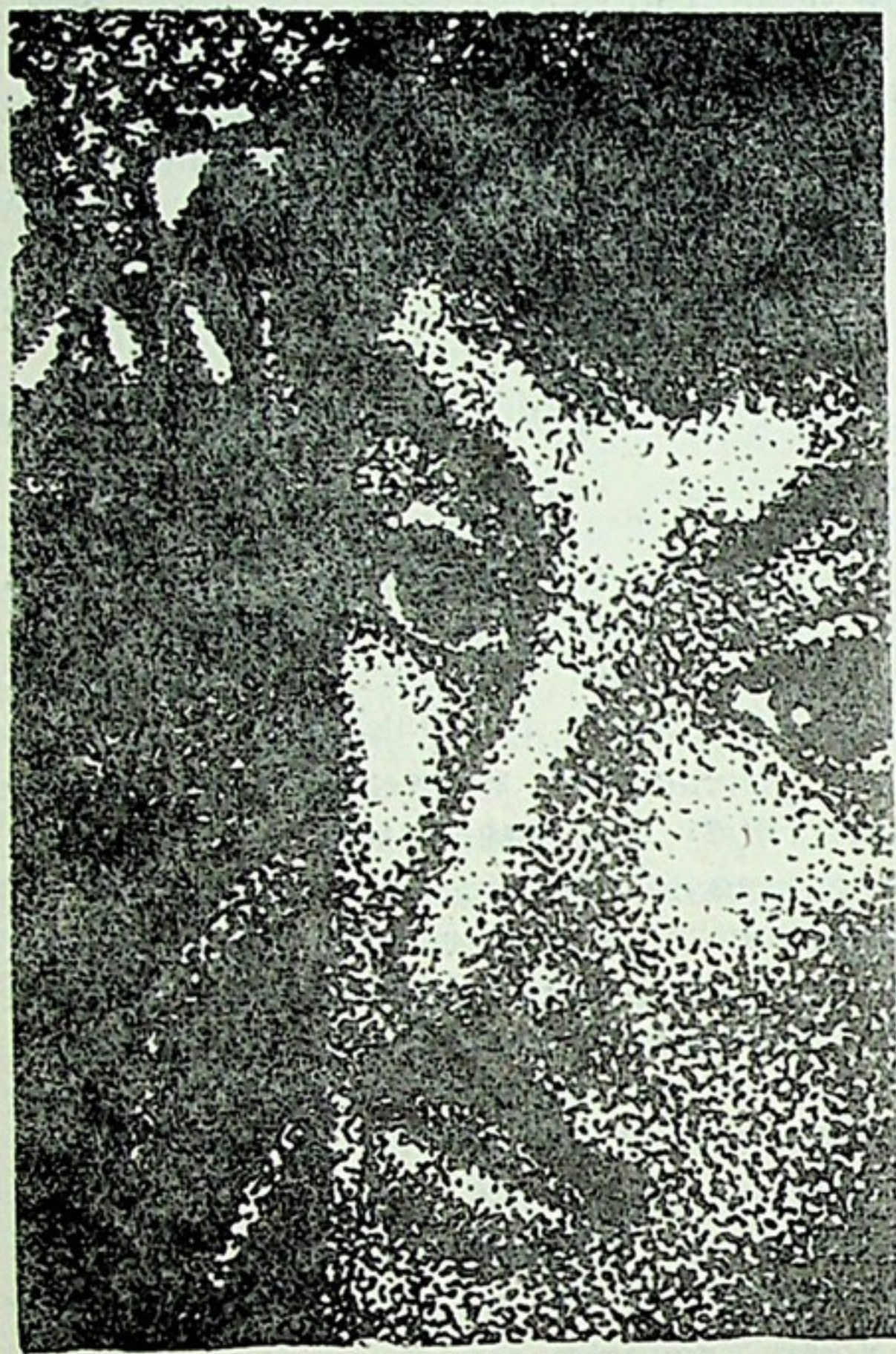
Не знал простодушный, что печаль всю жизнь преследовала человека, как тень неразлучная; грусть никогда не покидает его, только порой затихает, глохнет, но чаще сгущается, тяжелеет, и заволакивает душу, как ночь беспросветная, черная.

Не знал Коция и того, что сейчас, после минутной вспышки любви, боль еще сильнее сдавила сердце княжны, что еще тяжелей стала ее скорбь. Потому и сникла Тинатин, как цветок от палящего зноя.

Девушка умолкла, еще ниже опустила голову. Пальцы застыли без движения.

Пораженная служанка глядела на нее, затаив дыхание, словно боялась нарушить тишину, вспугнуть мысли девушки.

Юноша, чей образ поселился в душе Тинатин, к кому устремлялись ее девичьи грезы и против кого восставало унаследованное от предков и взлелеянное царским воспитанием честолюбие, был тем всадником в желтом одеянии, который недавно с таким почтением приветствовал княжну (Ношревана, верный соратник Мамия, был подвластным князю гурийским дворянином).



При виде Ношревана сердце Тинатин учащенно забилось, когда же юноша коснулся губами ее фаты, княжну охватила такая дрожь, будто он целовал ее глаза. И встрепенулась девушка, испугалась, отстранилась: попыталась придать лицу выражение холодное, бесстрастное. Ношреван мгновенно почувствовал и непритворную радость Тинатин, и нарочитое отчуждение. Поэтому улыбка, осветившая его лицо, тут же потухла, а глаза наполнились скорбью.

Дружба княжны и Ношревана зародилась еще в детстве. Со временем Ношреван проникся безграничным уважением к княжне Гуриэли, она представлялась ему существом не земным, а сказочным, и он благоговел перед ней, поклонялся ее тени.

Чувства девушки были не так определены, ей доставляло удовольствие видеть подле себя красивого юношу, всегда веселого, всегда разговорчивого. Привыкла к нему Тинатин, и если по какой-нибудь причине Ношреван долго не являлся, скучала княжна, недоставало чего-то ее глазам.

Безграничным доверием пользовался Ношреван у Гуриэли. Во время войны он неотлучно находился при князе, поражая этого испытанного воина своим бесстрашием и дерзновенной силой десницы. И князю льстило иметь под рукой такого храброго и самоотверженного воина. Завидное будущее ожидало Ношревана под кровом Гуриэли!

Вернувшись с войны победителем, князь ликовал: победив, он присоединил к своим владениям Ачару и Чанети, которые имели для него весьма важное значение. В ознаменование этого радостного события Мамия задал царский пир. На третий день празднования молодежь совершила прогулку на конях по окрестностям. Все были хорошими наездниками, да и покрасоваться хотелось, похвастаться конями и их убранством.

Это была живописная картина. Взор радовала цветущая молодежь, с веселым гиканьем усыпавшая косогор. Всадники мчались во весь опор на быстрых конях, каждый стремился превзойти соперников. Ведь рядом с ними находилась княжна Тинатин, и можно

ли было мечтать о более удобном случае блеснуть перед ней своей ловкостью и сноровкой.

За небольшим леском открылась долина. Молодежь устремилась вперед. Свита княжны пока сдерживала коней, но и ее ряды постепенно редели. Наконец в Тинатин заговорила наездница, девушка ослабила узду. Подобно птице, взметнулся конь и, разгоряченный, вырвал у нее поводья. Девушка испуганно вскрикнула. Все растерялись, не знали, что предпринять. Кое-кто погнался за ошалелым конем, но этим еще больше разъярил его. Опытный воин Ношреван мгновенно оценил обстановку. Описав круг, он внезапно преградил путь коню Тинатин и схватил его под уздцы. Конь вздыбился и отпрянул назад. Но юноша в мгновение ока выхватил из седла находившуюся почти в беспомощности княжну.

Все облегченно вздохнули. Пришедшая в себя девушка с такой благодарностью и любовью посмотрела на своего спасителя, что юноша от счастья онемел.

Прибыл посол кахетинского царя. Леван окончательно принял предложение Мамия, одобрил его соображения, изъявил полное согласие во всем.

«Я глубоко убежден, этот союз укрепит наши царства и будет способствовать процветанию наших государств», — писал царь Леван.

По душе пришлось Мамия, что будущий зять назвал его царем, а владения — государством (угадал Леван затаенное желание князя, решил пощекотать самолюбие будущего тестя).

Торопился царь Леван. Уже и обручальное кольцо прислал. На первый взгляд кольцо это казалось обыкновенным, лишь один драгоценный камень оживлял тяжелый перстень. Однако этот камень не знал себе равных по величине, блеску, переливам. Он стоил царской короны.

Тинатин подошла к тому рубежу, где кончалась усыпанная цветами дорога беззаботного и беспечного детства, безоблачной юности и начинались новые пути самостоятельной жизни. Две дороги вели в открытое поле и расходились они, эти дороги, терялись в неоглядных далях. На распутье стояла мраморная колонна с тайными письменами. Девушка упрямо вглядывалась, но прочесть не удавалось: неясными были для нее начертания, туманными. Проснулось любопытство необоримое, жаждала девушка рассеять мглу, пронзить ее взглядом и узреть пути тайные будущего своего. Но тщетно. Бессильно поникла она, отчаяние охватило душу. Тогда пурпуром окрасилась колонна, и кровавый отблеск выявил слова:

«Тут проложен путь к величию, дорога избранных. Пойдешь налево и вкусишь власть мирскую, распластаются у ног твоих тысячи и множества, будешь утопать в роскоши безбрежной, ореол величия окружит чело твое и бессмертным станет имя твое в поступи веков».

Бросила девушка взгляд на дорогу манящую, выложенную бесценными драгоценностями. Ждали ее колесница и кони, девы и рыцари, а меж них — мужественный венценосец, спутник ее жизни. Как он прекрасен, но... ах! Сердце царя не билось, холодным было оно для Тинатин, оледенелым. И послышался девушке голос отрывистый и властный: «Узри дорогу жизни твоей и суженого твоего. Ступай!»

Но снова упал на колонну скупой сноп света. Девушка с трудом разобрала слова: «Любовь, только любовь». Посмотрела на эту дорожку, усеянную терниями, окутанную туманом. И где-то далеко-далеко мерцало грустное лицо Ношревана.

И представилась ей счастливая жизнь с Ношреваном: возрадовалось сердце, розой распустилось. Но ворвался дребезжащий смех разума и смял, затоптал цветок радости.

И представилась ей жизнь супруги властелина Кахетии. Гордо вскинув голову, холодный рассудок важно озирается по сторонам.

Колебалась девушка в выборе, растерянно металась от одной крайности к другой. А в глубине души была уверена: не осилить сердцу разума. Знала, что его голос со временем будет крепчать и пересилит под конец плач бедного сердца. Тогда не сможет она совладать с собой, протянет руку венценосцу, обречет Ношревана на гибель.

С особенной ясностью понимала Тинатин это днем, когда еще отчетливей обозначается закон жизни, а уносящая вдаль мечта подбирает свои пестрые крылья.

Да разве могла девушка быть на поводу у сердца? Разве можно было отвернуться от величия, богатства, прав, дарованных ей провидением? Разве мыслимо было опуститься до тех, кто сегодня так угодливо кланяется, завидуя ее судьбе? Конца ведь не будет колкостям и тайным насмешкам, каждый постарается подчеркнуть свое равенство с Тинатин.

Правда, любит Ношреван свою Тинатин, души в ней не чаает, но и царю Левану приглянулась она — иначе он не торопился бы с обручением. Кстати, слышала я, Леван совсем молод. Сверстник Ношревана, да и в храбрости ему не уступит. Говорят, его десница одинаково твердо держит и меч и скипетр. Мужественен он, в горячих схватках всегда вместе с воинами. И на что будет похоже, если я откажу? Обмануть и отца любящего и царя молодого? Да я тогда и глаз показать на людях не посмею. Отвернутся от меня. Из-за прихоти чувства, из-за упрямства на меня должно обрушиться столько несчастий? Нет, невозможно. Что станут говорить?

— А любовь? Ведь я жить не могу без Ношревана? Да и он меня любит. Руки наложит на себя, я его хорошо знаю. Как сладостны были его поцелуи. Огненным следом горят они на щеках — и девушка ласково поглаживала лицо, будто и вправду нащупывала следы восторженных поцелуев.

Письмо царя Левана привез во дворец князь Каихосро Макашвили. На первый взгляд, этот сухопарый, подвижной мужчина ничем не выделялся. Гладко выбритый подбородок, свисающие вниз кончики усов, посеребренные годами густые волосы, домотканное темное платье. Ни одной драгоценности ни на оружии, ни на поясе. Поражали лишь глаза. Тихий зеленоватый свет излучали они. И эти лучи околдовывали людей. Каихосро был прославленным визирем кахетинского царя. Невозмутимый, осторожный и сообразительный, он завоевал уважение и любовь всего двора.

Четверо сопровождавших его юношей были разодеты в бархат, на оружии сверкали жемчуга, на лицах — улыбки. Рослые, ловкие, как тигры, красивые, гордые, как львы, они мгновенно полонили сердца красавиц. Кто из местных кокеток не бросал томных взглядов на вытянувшихся, словно тополь, и пышущих здоровьем юношей? Гуриэли приказал отвести им лучшие комнаты, специально выделить слуг.

В назначенный день Гуриэли устроил роскошный пир, на котором объявил о помолвке своей дочери с кахетинским царем Леваном. При этом присутствовали только избранные, лучшие представители гурийской знати. Неизгладимое впечатление оставляли веселые и предупредительные к гостям дворяне. Очень понравились они кахетинцам.

В окружении дам появилась Тинатин. Вышел вперед Каихосро. Какую-то долю секунды он присматривался к девушке, затем лицо его расплылось в довольной улыбке.

Стройная девушка, как тростинка хрупкая, ее талию можно охватить пальцами одной руки. Немножко слабенькой выглядит, узка в кости, но ведь еще молода, совсем младенец.

Поклонился Каихосро девушке, подобно царице, восседающей на троне, и произнес панегирик: сравнил с той Тинатин, воплощением бессмертной красоты и добродетели. Вынул из потайного кармана шкатулку и, преклонив колени, извлек оттуда кольцо, надел на палец девушки.

— Это кольцо царицы великий властелин Кахетии Леван прислал в знак любви, — произнес визирь.

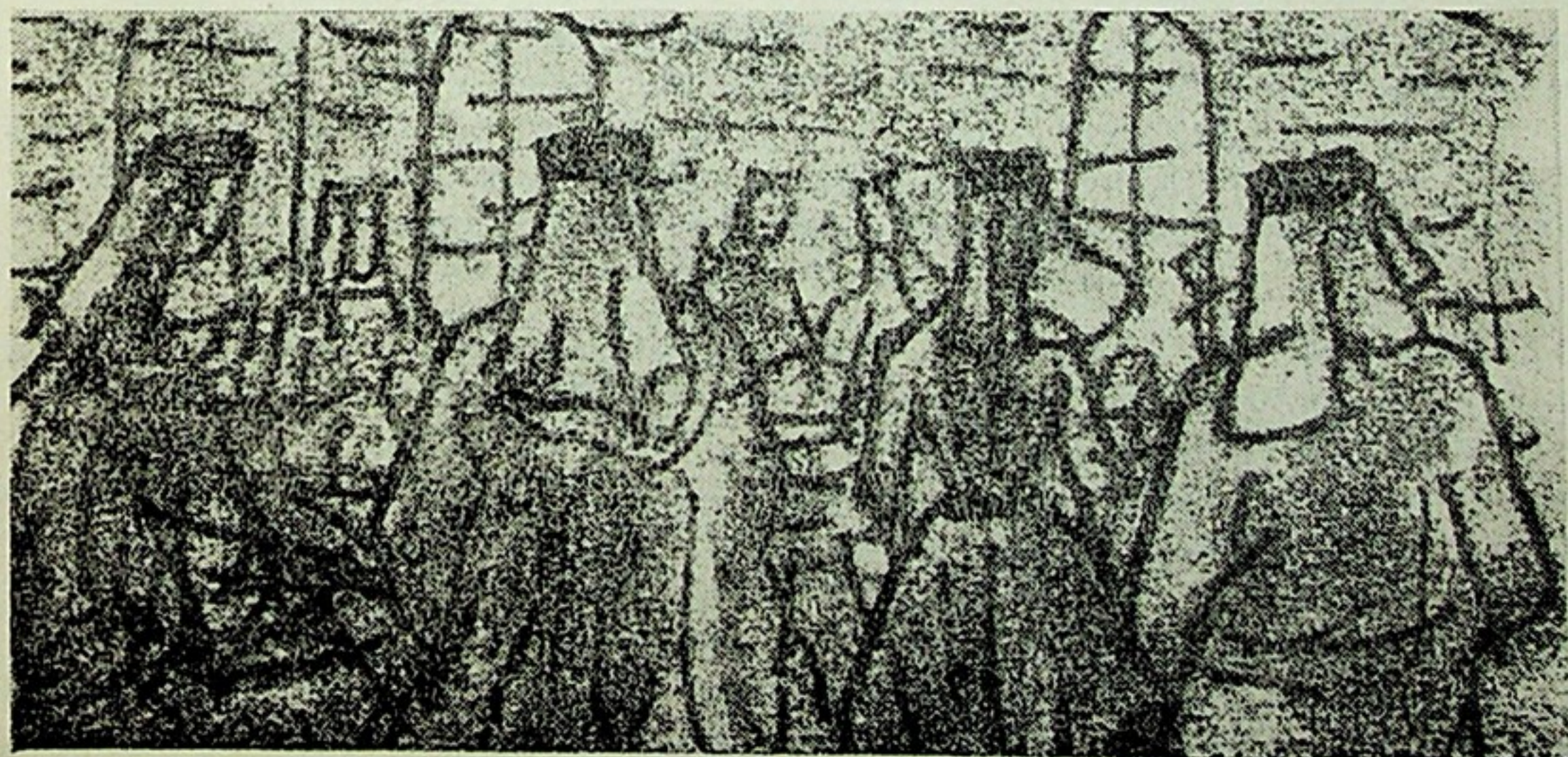
Свита Каихосро замерла в поклоне. Придворные бросились поздравлять княжну. Девушка молча внимала их словам, лицо ее не выражало ни радости, ни печали.

Ношреван не отрывал от нее глаз. Временами ему хотелось бежать куда глаза глядят, но еще тлеющая в груди надежда удерживала. Не мог он поверить, что Тинатин так, с легким сердцем даст согласие и откажется от Ношревана, принесет его в жертву своему царскому величию.

«Может, во время приема гостей объявит она о велении сердца? Может, прикажет мне совершить подвиг во имя осуществления наших мечтаний?» — ободрял себя юноша.

И изумился, когда девушка, не дрогнув бровью, приняла кольцо и почести, предназначенные царице. Совершенно погасла надежда, черные круги заходили перед глазами. Юноша выбежал из зала.

Грусть неотвязно следовала за Тинатин. Не слышно было ее нежного голоса, не порхала она по залам, не перебирала струн тари. Казалось, ко всему безразлична Тинатин.





А приготовления были в разгаре. Одной из комнат полностью завладела портнихи. На столах переливалась парча разных цветов, пенился шелк, тянулись ленты, шнурки, кружева. Здесь царили шутки, смех, болтовня. Обсуждали прием посланника царя, угощения, наречение княжны царицей, порицали Тинатин за неприступный вид, дескать, рано держаться по-царски надменно.

— Уж больно возгордилась княжна.

— Всеми брезгует, ни на кого не смотрит, царица!

— Не так уж щедр этот хваленый царь — всего лишь кольцо преподнес.

— Эх, ты, простофиля. Кольцо-то это, поговаривают, целого города стоит.

— К тому же Каихосро предупредил, мол, это лишь залог, а подарки еще впереди.

— А каким степенным и обходительным оказался Макашвили.

— Ну мне больше по душе молодцы из его свиты.

— Все?

— Нет, я бы того предпочла, что в красном.

— А мне приглянулся в зеленом. Косая сажень в плечах, Амираном выглядит, грозовой туче подобным Амираном.

— Нет, дорогая моя, всех краше, что в желтом. Как завлекательно улыбались его голубые глаза.

— А чем негож юноша в синем? Как ловко осадил он мерани князя, словно вкопанный стоял конь.

— Да и Ношреван не ударил лицом в грязь. С любым из них мог бы потягаться в смелости и находчивости. А весельем и пением даже превзошел всех.

— Затараторила, сорока: превзошел... уж больно веселился Ношреван, на одержимого смахивал.

— А сейчас молчит, будто воды в рот набрал.

— Видать, озабочен чем-то.

— Еще бы, обидно — девушка-то замуж выходит: чьим он рыцарем будет?

Перекидывались портнихи словечками, судачили. Не могли знать, болтуны, какой огонь сжигает Ношревана, в какой трясине увяз несчастный. И все же не терял он самообладания, мужественно переносил горе. А все его помыслы и стремления сходились к одному: ждать приговора судьбы, ждать слова Тинатин. Вот и сегодня он привычно взбежал на балкон, стал на колени, поцеловал край фаты Тинатин и превратился в слух, ища глазами ее взгляда.

Девушка вздрогнула, опустила ресницы, не проронила ни слова. Да и что могла сказать песчинка, влекомая течением жизни. Волны судьбы стремительно несли ее к заранее уготованному величию.

Великолепное приданое готовилось княжне. Небольшое, но богатое, как и подобает невесте царя. Недоставало лишь рабыни, не служанки — их набирали из числа крепостных, а купленной, безухой. Рабыни необыкновенной, — заморской, дорогостоящей. Гуриэли приказал воинам, охраняющим границы его владений, не пропускать без осмотра ни одного судна и, в случае обнаружения подобной пленницы, немедленно доложить. Через несколько дней пришло донесение: в Кобулетском порту задержан плывущий из Александрии корабль, на котором находится рабыня, словно самим провидением созданная для приданого княжны. Лучшую рабыню днем с огнем не сыскать, десятерых девушек стоит

она одна. Князь немедленно послал в порт казначея: осмотри пленницу, и если понравится — купи.

Когда продавец сорвал чадру с обнаженной девушки, то из груди казначея вырвался возглас изумления. Глазам его предстало одно из семи чудес света. Это было произведение великого скульптора. Молодое тело казалось высеченным из мрамора, и покупатель невольно потрогал девушку, словно хотел удостовериться, действительно ли она живое существо. Дрожь отвращения пробежала по телу пленницы, словно к нему прикоснулось скользкое пресмыкающееся.

Отказавшись от денег, купец запросил за нее шестерых колхидцев. С радостью согласился казначей — уж очень не хотелось ему тряхнуть мощной, куда спокойнее было заплатить рабами, пригнанными с войны. Правда, в наличии оставалось всего лишь пять пленников, однако раздобыть шестого было легче легкого.

Боязливо следя за людьми, пленница вздрагивала и метала искры из черных, как смоль, глаз.

— Почему у нее связаны руки? — спросила княжна Тинатин.

— Она способна на безрассудство! Рассказывают, купца за горло схватила в исступлении, чуть не задушила. В море пыталась броситься, — оправдывался казначей.

Приказав снять оковы с пленницы, Тинатин подошла к ней и погладила взлохмаченные волосы рабыни.

Слезы заволкли глаза девушки, и она доверчиво прильнула к руке княжны. Гуриэли, потягивая кальян, спокойно созерцал эту сцену.

— Лекаря! — проронил он небрежно.

— К вашим услугам, милостивый государь! — выскользнул из толпы врач.

— Посмотри, нет ли у нее изъяна или хвори какой!

Лекарь внимательно осмотрел девушку и, щелкнув языком от восхищения, воскликнул:

— О, она — само здоровье. Прелестная!

— О ее достоинствах сами можем судить, не слепые. Ты о здоровье докладывай!

— Простите великодушно князь, я не мог удержаться от похвалы.

— Тинатин, дочь моя! Тебе дарю я эту пленницу, отныне она твоя рабыня, — сказал Гуриэли и обратился к врачу:

— Лекарь, исполни ритуал — отрежь ухо! Хлопот-то с раной не будет?

— За три дня заживет, за три... — бубнил лекарь, раскрыв сумку с инструментами.

Чужестранка мигом уловила смысл его приготовлений и боязливо сжалась в комок. Потом бросилась в ноги княжны, обняла ее колени руками, посмотрела полными мольбы глазами.

— Нет, не позволю! — остановила врача Тинатин. — Коль подарили ее мне, то пусть будет по-моему!

— Послушай, княжна, закон так повелевает и переступить его никому не дозволено. Рабыня она купленная, и об этом должна свидетельствовать пометка, — нахмурившись, промолвил Мамия.

— Так лучше убейте ее! — возразила девушка и прикрыла рукой голову несчастной.

— Разве посмею я изуродовать совершенство, моя княжна и царица! Но ведь и закона надо придерживаться. Я лишь кружочек обведу вокруг уха, малую толику крови пролью, и обряд можно считать выполненным, — увещевал княжну врач.

Затем он повернулся к Гуриэли и, подмигнув обещающе, сказал:

— Да, мой князь, так будет лучше.

Тинатин перехватила его взгляд и, разгадав коварный замысел врача, даже близко не подпускала его к рабыне. Гуриэли молчал, только складки собирались на лбу, тучи сгущались на лице — вот-вот грянет гром. В это время на балконе появился Ношреван. Тинатин, не раздумывая долго, решила прибегнуть к его помощи.

— Эту несчастную хотят сделать безухой. Я умолила отца, он разрешил только острием кинжала обвести ухо и этим закончить ритуал.

— Князь сжалился над бедняжкой, почему же печалишься, повелительница?

— Не могу доверять врачу. Ты надрежь.

— Воля твоя! — промолвил Ношреван. Вынув кинжал, он осторожно прикоснулся к коже пленницы — красная ниточка обвила ей ухо.

— Думалось мне, для врагов точишь оружие, оказывается и женской кровью не брезгуешь, — с издевкой бросил Гуриэли.

— Что мой кинжал охотно плавает в крови врагов, хорошо известно князю. А сейчас вы собственными глазами убедились, что он может служить и для защиты девушки от смерти.

— Смерти?! Всего лишь обрезание уха у рабыни, мой Ношреван, — вмешался врач.

— Для красивой девушки, мой лекарь, увечье равносильно смерти, — парировал юноша и с почтением поклонился Тинатин.

Княжне понравился ответ юноши, она одобрительно кивнула ему. Воспользовалось случаем сердце, взмолилось достойно оценить любовь Ношревана. Девушка, казалось, вняла голосу сердца, заколебалась. Но это длилось всего одно мгновение.

Положение Ношревана становилось все безысходнее. Девушка еще не отказала окончательно, еще не выбросила его из души. Однако ни одним словом не обмолвилась она, снедаемая думами, не призвала, не раскрыла сердца юноше, не потребовала от него дел героических и не пообещала в награду себя, несравненную, свою любовь, жизнь дарящую. А сделай она это, тогда воочию убедилась бы, на что способен ее витязь, ее избранник. С радостью готов был Ношреван отдать себя во власть ее желаний — чистейших помыслов души. Только приказа ожидал юноша, уставший и обессиленный, подошедший к воротам безнадежности, сильно взволнованный, горько страдавший.

— Иссякло терпение — нет мочи ждать. Да и время не ждет. Или надо найти пути спасения, или отступить.

— Отступить! Не могу! Но что делать?

Терзаемый сомнениями, юноша не раз пытался прочесть в глазах девушки ответ, но не находил его. Не посылали они Ношревану ни бальзама целительного, ни отказа — яда убийственного. Погасли для Ношревана глаза Тинатин, утеряли дар речи.

— Видно, не осмеливается она на решающий шаг, я же сижу сложа руки, жду... Тинатин — моя жизнь, мое дыхание. Не могу больше — похищу ее!

— А если откажется, обидится? Надо предупредить ее! Откроюсь во всем, не пожелает, тогда выход ясен — покончу с собой. Эх, горемыкаты, Ношреван! Влюбился в княжну, и на что только надеялся? Не такой уж ты орел, чтобы смотреть в упор на солнце и не жмуриться, не ослепнуть.

Алазанская долина погрузилась в туман. Он окутал реки, сады, виноградники, селения, рассыпанные у подножия гор. Лишь стражи полей—гигантские горы высвободились из объятий мглы. Их лысые макушки возвышаются и над туманом, и над одинокими тучами—птенцами сиротливыми.

Снег еще не успел побелить вершины Гомборских гор, тогда как на хребтах Кавкасион он уже чувствует себя хозяином. Лучи восходящего солнца робко заигрывают с ним и тут же отскакивают, переливаясь радугой.

В такие дни игра природы невольно приковывает к себе взгляд путника, и он долго не может оторвать от прекрасной картины своих зачарованных глаз.

Утренний ветерок тербит распластавшийся на полях туман. Тот невольно ворочается, медленно просыпается, потягивается, собирается взлететь. Но не подчиняются ему отяжелевшие от сырости крылья. И вынужден туман, созданный для небесных просторов, лнуть к земле.

Стражами Кахетии поставил создатель исполинские хребты. Торжественно выстроились горы на границах, бережливо оглядывают просыпающуюся долину. Посылают ей живительные потоки, поручают передать поклоны, заверения в любви.

— Не печалься, родимая, не падай духом; пока мы оберегаем тебя, благословенно творцом бытие твое. Во веки веков благословенно оно. Не пугайся непостоянства судьбы, не скорби, не гаси светоч радости! — передают слова вершин посланные ими гонцы.

Ободряются поля, расцветают надеждой, шумно веселятся — не страшны им теперь жестокие бури, налетающие черным коршуном на райский уголок.

В туман был погружен Греми, стольный град царя Кахетии. Густой мрак обволол и овраги, и расселины, и холмы — все окрестности. Лишь до гор, толпящихся неподалеку, не смог дотянуться туман, поэтому буйно зеленеющие склоны их казались островками в море.

Греми притих, приуныл. Царь Леван со своей свитой отправился в горы на охоту. Пройдя пограничные районы, он вступил на чужие земли. К дагестанскому шамхалу Юсуп-хану направился в гости. Шамхал слыл одним из влиятельнейших лезгинских князей. Его земли граничили с Кахетией, и Юсуп-хану выгодно было поддерживать дружеские отношения с рассудительным и энергичным царем Леваном.

Но и другое толкало шамхала на дружбу с Леваном. Дочь хана, Лейл-Кизи, славившаяся на весь Дагестан своей красотой, до самозабвения полюбила молодого царя. Гордая красавица не пыталась даже скрывать охватившего ее чувства. Царь Леван отвечал ей взаимностью. Любуясь ее стройным, как лучинка, станом, юноша не мог скрыть обурявшего его томления. Полные решимости глаза Лейл-Кизи ввергали его в бездну сжигающих желаний. Любовь ее, не знающая преград, покоряла Левана. При каждой встрече ослабевала воля юноши, обрывались нити самообладания, еле удерживался он от искушения.

— Трудно держать себя в узде, бороться с чувством! Но для чего эта борьба? Разве минута блаженства не ценнее всех богатств, или величия лучезарного? Не под стать, говорят, она тебе, не подходит к твоему трону. Но сердце иного мнения! Удивительно: все мои подданные имеют право следовать за зовом сердца, я же лишен его, этого права! — досадовал на судьбу царь.

Леван гостил у шамхала. Лагерь разбили рядом с озером. Царский шатер стоял чуть поодаль, на пригорке, у самого берега. Бездонным называли это озеро. Очень глубоким было оно, стиснутое со всех сторон горами. Дикие скалы, нависшие над ним, прихотливо оттесала непогода. Кудрявые деревца зеленым сводом склонились над озером и ласкали в его глади свою тень. Весело плескалась форель. Такие озера не редкость в Дагестанских горах. Временами они одиночками-бунтарями взрывают каменные тюрьмы, вырываются из заточения и устремляются к полям.

Леван лежал на боку, левая рука подпирала голову, правая же покоилась на рукояти кинжала. Рядом, подобрав под себя ноги, сидел старец и рассказывал царю удивительные истории, приключившиеся в этих горах. Страстный охотник, прошедший в лесах лучшие годы своей жизни, он знал множество захватывающих историй. Довольный удачной охотой, юноша увлеченно слушал. Шамхал Юсуп-хан и спутники царя неподалеку оживленно беседовали о чем-то.

Прохладой веяло с озера. Чистый воздух гор подзадоривал аппетит, и люди с нетерпением ожидали трапезы. Обед был готов, однако царь приказал не начинать без Лейл-Кизи. Дочери шамхала сообщили о приезде Левана, и с минуты на минуту она должна была появиться.

В мирную беседу ворвался топот коня. Все обернулись. По тропинке, извивающейся по крутой горе, мчалась всадница. Подобно онагру, несся конь по скалистой крутизне. Ветер сорвал с головы всадницы мандили<sup>1</sup> и подхватил его. На всем скаку приблизясь к шатру Левана, девушка резко осадил коня. Ловко спрыгнула и, раскинув руки, бросилась к идущему ей навстречу юноше. Обрадованная встречей, она смеялась всем существом: глазами, губами, щеками. Драгоценный это был смех — земной, заразительный. Леван не мог, как прежде, ответить ей искренним чувством. Он непривычно волновался, поминутно менялся в лице. Девушка почувствовала недоброе, подозрительно огляделась,



<sup>1</sup> М а н д и л и — женский головной платок.

заметила незнакомых людей. Остановила на юноше испытующий взгляд, уловила в его глазах смятение, опечалилась, съежилась, как цветок, лишенный тепла солнца.

Пир на лоне природы, ожидаемый с таким нетерпением, не удался. Причиной было мрачное настроение царя. Слишком часто на его лице ложилась тень печали. Тогда затихала молодежь, угасало веселье. Не успели охотники закусить, как словно из-под земли выросла перед ними женщина. Годы не успели согнуть ее спину, и старуха, невзирая на свой возраст, держалась прямо. Завернутая в лохмотья, она ступала уверенно, словно повелительница гор. Это была гадалка. Старуха вперила взгляд в царя Левана. Потом тяжело перевела глаза на сидящую рядом с ним Лейл-Кизи. На минуту всех сковало оцепенение. Медленно подошла гадалка к лезгинке, ласково притронулась к волосам ее, повелительно притянула ладонь. Стояла напряженная тишина. Старуха водила иссохшим пальцем по запутанным линиям ладони девушки. Вдруг она отпрянула, зачастила:

— Величие великое! Любовь! Померкла радость! Вновь воссияла! Любовь! Величие!

Старуха запустила костлявую руку в волосы Лейл-Кизи, приникла к ним, поцеловала.

Слова гадалки не коснулись сердца девушки, равнодушно внимала она старухе. Зато они врезались в сознание юноши. Леван побледнел, глубоко задумался.

Греми кишел людьми. С приездом царя он ожил, преобразился. Три дня не утихало веселье на пиру, который устроил Леван в честь посланцев Гуриэли и в знак удачной охоты. Именитые кахетинцы наперебой старались заручиться согласием дорогих гостей посетить их имения. Гурийцы были покорены их радушием, щедростью, неудержимой веселостью, слаженным исполнением танцев, песен, многообразных военных игр. Молодой царь пытался принять горячее участие во всем, однако веселье его было поддельным: не текло оно, журча, подобно чистому ручью. Во время трапезы Леван часто впадал в раздумье: хмурились брови, безвольно обвисали плечи, в глазах затаилась скорбь. Дивились старики странному поведению юноши, недоуменно разводили руками. Изощрялась молодежь в выдумках, всячески старалась развеселить царя: шутили, рассказывали забавные истории. Но не смогли развлечь венценосца. Тогда дамы решили испробовать свои всемогущие чары. Расставили юноше сети — принялись щеголять нарядами, остроумием. Кокетство блистательных дам еще сильнее бередило раны Левана, еще круче втягивало его в водоворот тяжелых сомнений. Не знали прекрасные, что их ласки не исцеляли, а растравляли раны сердца царя. Не знали они, что речи приятные, улыбки пьянящие раздирали его душу. Не знали светские дамы, как возвышает сынов земли любовь, как очищает, освящает их, возносит на лазурное небо трепещущей звездой.

— Бесценная моя Лейла не обучена, подобно вам, жеманницы, искусству хороших манер. Она — дитя гор, как тур прекрасный, она — олицетворение самой природы, плоть от плоти ее, сама первоизданная прелесть. Жалко мне вас — не понять вам этого! Благородные вы камни, граненые, в драгоценный металл искусно вправленные. Лейла — рубин, в недрах природы мною найденный, природой расцвеченный. Рука мастера не касалась его. Поэтому светит он светом первоизданным. Сочтете, чопорные, недостойным вас смотреть на этот рубин, коли укра-

шу им царскую корону?! Но что могу поделаться с собой: сердце мое похитила звезда эта яркая. Кровь моя играет в бесценном рубине, это она окрашивает лучи его в пурпур. Не понимаете вы этого, да и не поймете! Разумом не постичь тайны любви, только сердцу ведомы они.

— Я слишком считаюсь с мнением придворных, боюсь их суда. Да, но хватит ли у царя смелости поступить вопреки их желанию и посадить на трон мусульманку? Что же делать! Предать сердце, утопить в омуте рассудка чувства, отказаться от радости быть всегда рядом с Лейлой?! Постой, по какому праву негодуешь, Леван, на других, когда твой собственный разум насмерть схватился с сердцем. Ты царь, говорит он, поэтому денно и нощно должен ревностно печься о благе подданных. Ты царь, твердит неугомонный, поэтому обязан ежечасно радеть о возвышении трона. Не только сердце, но и саму жизнь ты, в случае надобности, принесешь в жертву его интересам. Разве не жертвовали собой во имя государства твои предки? Опомнись, государь! Дочь лезгина на престоле Грузии?.. Неслыханно! «Не бывать этому», — закликает разум. «Не бывать этому», — вторит ему голос Кахетии, всей Грузии.

«Дочь лезгина — грузинская царица?» — преследовал тайный шепот истерзанную душу царя. Ночью крепчал этот голос и завывал над головой юноши, подобно страшному привидению — властелину тьмы.

Праздничное шествие, на пути которого не умолкали песни, радовало сердце Тинатин. Щедрая на краски природа частой сменой картин возбуждала ее любопытство. Роскошь и удовольствия скрадывали тяготы долгого пути. И чем ближе подходили границы ее будущих владений, тем ярче блестели глаза княжны, тем звонче становился ее смех. Только сердце, брошенное на произвол судьбы, отстранялось от торжеств, молчало. Подыскивало, забытое, удобный случай, чтобы поднять голос, напомнить о себе. Но до сердца ли было девушке, до робких ли попыток чувств предостеречь от беды. Лишь у самых границ Картли Тинатин вспомнила о них, призадумалась над судьбой своей.

— Что мне сопутствует удача и величие, видно даже слепому. Только чувства закрывают упрямо глаза. С минуты на минуту может появиться мой нареченный жених, друг сердца, но сердце-то не подтверждает этой дружбы, не колотится радостно в груди. Избегает встречи с Леваном, неустанно шепчет: не сможет царь направить течение чувств твоих по руслу радости, чужой он тебе.

— Ошибаешься, упрямое, на своем хочешь настоять! — упрекнула девушка. Тогда обиделось сердце, сомкнуло уста. Окрылился разум, принялся будоражить воображение княжны множеством пленительных картин ее будущего. Взаялся нарисовать ей образ жениха, а мечта угодливо предоставляла материал: не имеющий себе равных витязь в порфире, на голове корона, в руке скипетр. Но не под силу оказалось разуму без помощи чувств очеловечить этот образ, вдохнуть в него жизнь живую, согреть кровь и пустить ее по жилам. Вот и предстал перед мысленным взором Тинатин некий идол, окруженный сиянием мертвым, безжизненным, холодным блеском величия. Не билось в груди его сердце, каменным было оно. Тинатин прозрела на какое-то мгновение, поняла, что величие великое, сила необоримая, казна неистощимая, все блага земные не смогут быть источником счастья. Вовремя спохватилась девушка, поспешила вновь верить себя рассудку. Гордый победой, он с еще большим усердием стал уговаривать княжну: вот ударю сейчас волшебной палочкой, и забьется сердце у камня, оживет он, протянет

руки, воскликнет: «Люблю тебя, царица моя вожденная!» — и утопит Тинатин в море поцелуев.

Поддалась девушка увещаниям разума, раскрыла объятия и предстал перед ней Ношреван, такой живой, осязаемый! Упав на колени, юноша молил ее отречься от величия преходящего и вверить судьбу свою сердцу. Ведь именно лучи любви рассекают тьму, соединяют людей.

— Ах! — вырвался стон из груди девушки. И потекли по щекам слезы. Это Ношревана оплакивала Тинатин, собственной рукой убиенного Ношревана, а вместе с ним и любовь свою. Окружающие в неведении своем сочли слезы эти случайными, просто влагой, выжатой из глаз минутным волнением. Лишь на секунду потеряла Тинатин власть над собой, лишь на минуту.

— Как, дочь могущественного Гуриэли, самим богом предназначенная для трона, осмеливается колебаться?! Отбрось сомнения и прими почести, приготовленные тебе провидением! — приказал разум, и девушка повиновалась. Поспешно вытерла слезы слабости, гордо вскинула голову.

Из-за горы выехал отряд всадников. Возглавлял его юноша, в котором кахетинцы узнали своего повелителя.

— Царь пожаловал! Сам Леван едет! — раздалось со всех сторон. Свита княжны замерла в ожидании. Леван осадил коня, ловко спрыгнул на землю, подбежал к паланкину, порывисто отдернул штору: не терпелось юноше увидеть невесту. Застигнутая врасплох неожиданной встречей, девушка изменилась в лице, растерялась, даже волосы не успела откинуть со щек. Лицо ее выражало удивление. Необъяснимые чувства разбудили в Леване хрупкое сложение Тинатин и пораженные, будто испуганные глаза — восхищение сменилось жалостью. Царь, как и подобает воспитанному юноше, поцеловал ее руку, осведомился о здоровье, выразил сочувствие по поводу трудностей, которые непременно должны были встретиться во время столь длительного путешествия.

С иными намерениями отправился Леван навстречу невесте: он твердо решил про себя ворваться в паланкин девушки, осыпать ее градом поцелуев. О, будь на ее месте Лейл-Кизи, Леван не преминул бы поступить именно так дерзостно. Разве возможно было устоять против полных страсти глаз, томящегося в ожидании ласки тела, дразнящей улыбки. Да и Лейла не сдержала бы порыва, грех томить себя. Но перед ним была не Лейла, а совсем иная девушка, какая-то чужая, далекая, настороженная. «Жалко ее», — промелькнуло в голове рыцаря, и, поцеловав руку невесты, он отступил.

Дворяне, сопровождающие Левана, низко поклонились царице. По всему было видно, что Тинатин пришлась им по душе. Царь прислушался к их совету и берет в жены, на благо государству, девушку из славного рода.

Дочь Гуриэли тоже была рада встрече. Она одобрила рыцарское поведение царя. Да, он был супругом, однако нельзя же с первого знакомства допускать вольности в обращении, это может на всю их совместную жизнь остаться горьким воспоминанием.

Действительно, более нежная встреча показалась бы неискренней. Ведь их соединению не предшествовала любовь, которая очищает, освящает союз двух существ, отменяет грех — это земное воплощение происков дьявола.

Несмотря на все изощрения разума, девушка в глубине души была смущена поведением царя. С какой это стати он так запросто предстал перед ней, почему не позаботился он даже о свите (всего каких-то



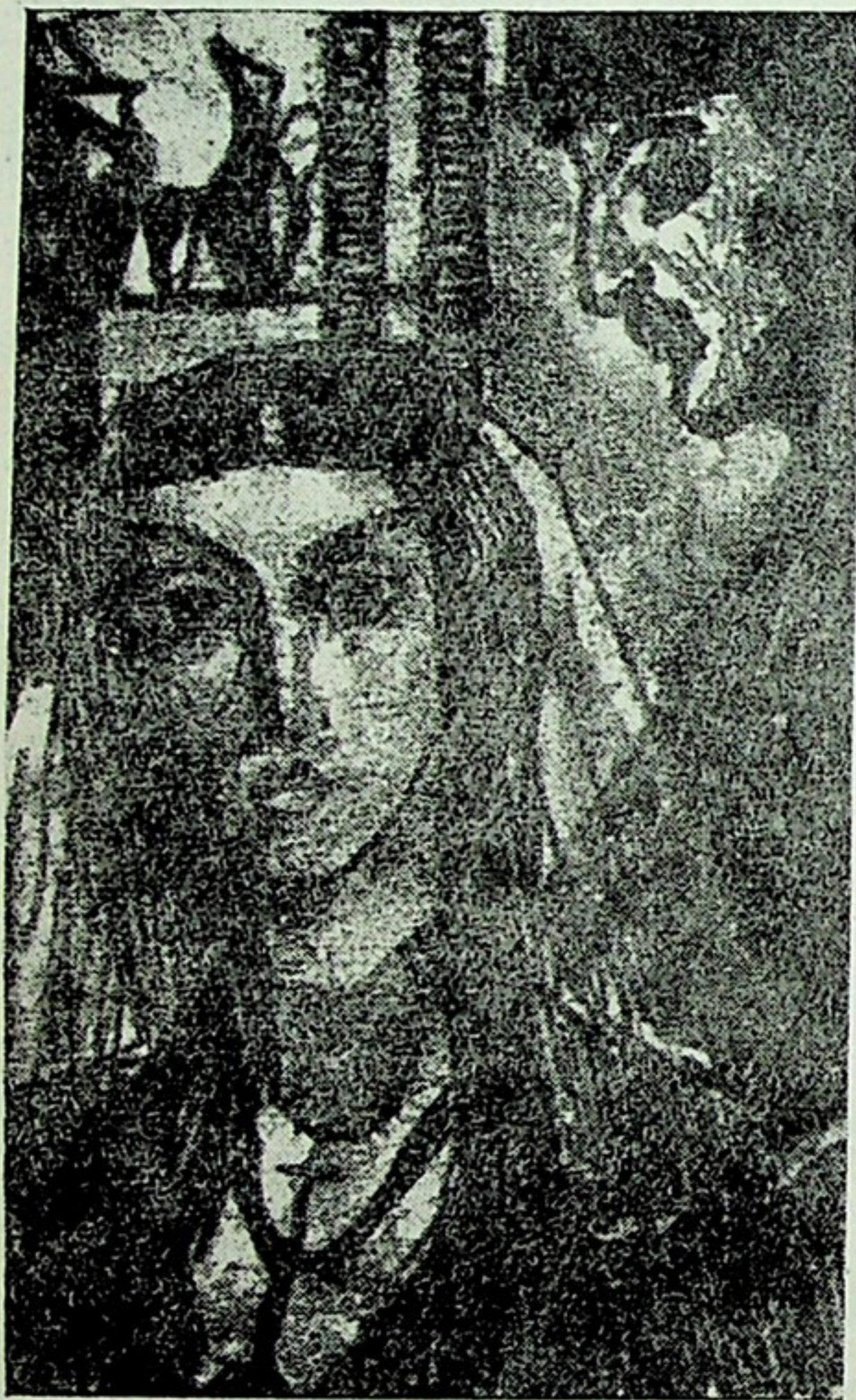
четыре человека), не оделся подобающе (ни одна драгоценность не украшает его костюм). Что за скромность? Не к месту!

Не сбылись ожидания Тинатин, не устроил ей Леван торжественной встречи. Однако сам жених понравился княжне.

— Правда, он не вылядит таким героем, как Ношреван, но все же мужественен, красив. И то сказать — царь, — успокаивала себя девушка.

Леван же тем временем блуждал взглядом по свите княжны. И вдруг оцепенел от изумления: он увидал прекрасную пленницу. Пора-

женный ее красотой, юноша впился в нее глазами коршуна, заметившего куропатку. Но это длилось всего один миг. С трудом оторвав от Гулкан взгляд, Леван приказал продолжать путь. Сам же поехал рядом с паланкином. От Тинатин не ускользнула предупредительность царя, и она улыбнулась ему.



Свадебный поезд, уже далеко позади оставив Иори, приближался к Гомборскому хребту. Тинатин все еще находилась под впечатлением встречи, устроенной им местными жителями. Она была уверена, что более милых и радушных людей, более красивой природы не сыскать на всем белом свете. И все же неожиданная красота открывшегося с вершины Гомбори вида вырвала из ее груди возглас изумления. Морем разлилась долина, и на далеком горизонте отроги Триалети волнами бороздили ее гладь. Казалось, сам творец создал для Тинатин и ее потомков уголок обетованный.

Ведь все остальные части Грузии — от моря до моря, от снежных вершин Кавкасион до Арарата — ковром расстелятся перед супругами миропомазанными, счастливыми обладателями божьего знака. Да, само провидение вручило Левану судьбу страны, — решила Тинатин. И предстала в мечтах единая Грузия, величественный трон Багратидов, на нем восседает Леван Великий — царь от бога, царь единый. Из лучей солнца сплел ему создатель корону, и лучи эти согревают друзей, разят врагов. А рядом с Леваном Великим шествует Тинатин — солнца светозарнее, с диадемой царицы Тамар на челе.

— Да не померкнет слава Левана Великого и супруги его, и передается молва о их деяниях из поколения в поколение, от рода к роду. Да обретет бессмертие имя счастливых супругов, окружит память о

них ореол немеркнувший. Сказочными назовет народ подвиги их героические!

И захватило дух, заблестели глаза: воображение Тинатин музами выткало картину величия, невыразимой гордостью прониклось сатанинское честолюбие девушки.

Каким ничтожным казался сейчас Ношреван по сравнению с благословенным всевышним на подвиги ратные Леваном Великим. Каким крохотным казалось его имя, затерявшееся где-то там в захолустье, по сравнению с необозримыми владениями ее супруга, завоеванными его острым мечом. Да что Ношреван! Сам великий Гуриэли, отец ее, был до сегодняшнего дня всего лишь одним из эриставов Левана, правда, уважаемым и любимым, но все же эриставом. А владения отца, щедро осыпанная благами Гурия — одной из жемчужин в короне Багратионов, правда, яркой, но все же только жемчужиной. Сколько таких драгоценностей принадлежит Левану!

И девушка взволнованно прижалась к нему, а юноша ласково посмотрел на украшенное лучами мечты чело ее.

О, хоть бы в этом мечтательном созерцании будущего рассыпался в прах Ношреван, выжжены были черты его из сердца девушки. Может, тогда и свершилось бы чудо, подарила бы Тинатин счастье Левану.

Нет, не случилось этого, не в силах была бедняжка вычеркнуть из памяти Ношревана. Во сне и наяву преследовало ее лицо отвергнутого юноши: то осязаемым становилось оно, отчетливо виднелись черты, то тускнело, расплывалось в кромешной тьме. И все же воспоминания о Ношреване ежеминутно сжимали сердце, ежечасно омрачали жизнь. Не канул он в бездну забвения, не дал отдохновения душе Тинатин.

Стараясь спастись от отряда буков, крутая тропинка без оглядки бежала под гору. Свита царская остановилась у пристанища для путников. Перекрестившись перед маленькой церковкой, они поспешили продолжить путь. Впереди их ожидала прекрасная лужайка, приютившаяся на самой верхушке холма. Издали он казался сплошным лесом и лишь на макушке лысиной блестела лужайка. Журчащий ручеек то задумчиво бежал вниз, то шаловливо прыгал с камешка на камешек, торопясь зарыться в орешнике.

Тинатин пребывала в безмятежности. Она смотрела вдаль, любовалась долиной, доверчиво прислонившейся к подножию исполинской горы. Осторожно подошла девушка к ручейку, набрала в горсть воды — холодная. И о чем это гудит лес? Девушка увидела притаившуюся тропинку и послушно последовала ее зову. За княжной молча шла Гука. Тропинка привела их на лужайку с одиноко стоящим кизилевым деревом. Лучи клонящегося к закату солнца трепетали на сочных плодах, словно на драгоценных камнях. Низко кланялись земле отягченные кизилом ветви, и длинная тень их тянулась по свежей траве. Девушка не поверила своим глазам: ведь именно это дерево она видела однажды во сне, ведь именно на этом месте стояло оно. Но разве Тинатин бывала здесь? Как же, ведь и храм причастия велела она построить вон там. Почему же он не стоит? Неужто это был сон?! Нет, не обманывается она, не грезит, видела это место, наяву видела! Тинатин робко обошла деревце, потрогала его пальцами, попробовала кизил — кислый! Приятно посидеть в его тени.

Плотная стена леса отгородила этот укромный уголок от расположенных на отдых проволочных. Запах цветов пронизал прозрачный воздух. Царица и безмолвно сидевшая рядом рабыня царицы минали русалок, вышедших понежиться на безлюдную полянку.

И правда, место это было уже давно облюбовано русалками. Они умывались водой этого ручейка, на этой полянке расчесывали золотые косы, казавшиеся при лунном свете горстью хлебных злаков. Отсюда разносились песни их, заманивающие прохожих. Здесь, на лужайках, ласкали они жертву, зацеловывали до смерти. Увы, не мог человек бороться с их лаской, медленно угасал под их поцелуями. Часто запоздалые прохожие слышали в этих краях лепет радостный, стоны страстные, причитания горькие — это дети леса то радовались удаче, то оплакивали долю свою тяжкую, проклинали страсть, сеящую смерть.

Но сейчас здесь царила тишина. Тинатин осматривала все вокруг и повторяла вслух:

— Какая прелесть! Какое спокойствие! Как красит лужайку этот одинокий кизил!

— Тебе здесь нравится, любовь моя? — раздался из-за деревьев голос Левана.

— Очень! Я уже видела этот уголок однажды... во сне. Только вон там стоял маленький храм.

— Знаешь, дорогая, полянка вечно останется такой, я прикажу не трогать ее, а вон там выстроим храм. Условимся приходить сюда иногда и вспоминать эти счастливые минуты.

Ночь надломилась. Жениху и невесте поднесли «Кубок счастья». Чаша была золотой, усыпанной рубинами и изумрудами. Надпись, выгравированная внутри, гласила: «Сильна любовь, как смерть, как ад жестокой ревности».

Чашу эту выносили лишь в честь свадьбы царей. А наполняли вином в знак того, что настало время удалиться молодоженам. Тамада до краев наполнил кубок, поднес его царю и, стоя на колене, произнес:

— Прими чашу сладости и напиток радости!

Леван взял сосуд, отпил малую толику вина и передал Тинатин. Девушка, испытующе посмотрев на супруга, пригубила чашу.

Обычно в момент подношения чаши жених и невеста заливаются краской, подобной красному вину, и стыдливо опускают глаза. Это самая торжественная и трудная для подвенечных минута. После этого ритуала шафер и подружки сопровождают молодых в спальню, а зурначи играют вовсю.

Когда тронулась к спальне пышная процессия, тамада провозгласил:

— Состариться вам вместе!

— Долгие лета! Долгие лета! — зажужжали придворные, и под эти возгласы Леван и Тинатин проследовали через всю анфиладу комнат до самой опочивальни.

В сказочной стране очутились новобрачные. Гармония линий, искусно подобранные тона превратили спальню в уголок рая, подлинный чертог небесный, но уже предназначенный для наслаждения земного.

Девушка замерла в изумлении. Молодой царь ласково обратился к ней и сам удивился себе. Слишком слабо билось его сердце, не подталкивало оно выйти из рамок приличия, не разрешало отдаться зову крови. Иным видел Леван в мечтах это мгновение. Казалось, вспыхнет

молнией, соединит Тинатин в одно с ним существо. А сейчас он стоял растерянный, трезво взвешивая свои поступки. Но таким Леван бывал и с другими, безразличными ему женщинами, простыми жертвами похоти. Ведь не одна Ева протягивала ему, полному здоровья юноше, плод запретного дерева.

Обозлившись на себя, Леван порывисто расстегнул золототканый нагрудник невесты и жадно прильнул губами к ее груди. Жемчугом рдевшая грудь приняла поцелуй юноши, но не довела сладость его до сердца. Строгим стражем стояла она у врат сердца, за семью замками держала его. Никому, кроме Ношревана, не доверяла ключей, никому, даже могущественному царю не отворяла дверей. Поэтому взамен бессмертной любви, взамен очищающего от греха тайного союза молодоженам оставалась связь греховная, преходящая.

Едва первые лучи восходящего солнца прокрались сквозь шторы, Леван принялся изучать лицо супруги. Измученное, будто перенесшее пытку, оно оттолкнуло юношу, показалось чужим, далеким. Царь мучительно осознавал, что связан с этой женщиной нерасторжимыми цепями. «Соединенных богом не разлучить людям», — вспомнилось ему. Поднялась из глубины души волна жалости и к себе и к девушке: не сможет он одарить ее счастьем, не в силах он осветить путь ее жизненный неугасимым светильником радости.

— Эх, была бы на ее месте Лейл-Кизи, — промелькнуло в голове Левана. И юноша испугался, отбросил греховную мысль. Он был набожным, поэтому измена, даже в мыслях, супружескому долгу казалась ему смертным грехом.

Тинатин словно передалась переживания супруга — она нахмурилась во сне, тяжело вздохнула, инстинктивно прикрыла одеялом юную грудь. Леван услышал стон ее сердца, пожалел жертву свою, наклонился, поцеловал в чистый лоб. Девушка открыла глаза, растерянно посмотрела вокруг, смутилась. Леван нежно перебирал ее локоны, то строя затейливые башни, то разрушая их. Глаза девушки подернулись поволокой необоримого желания. Растаяла в страсти тень одиночества, рассеялась, как туман под жаркими лучами.

Солнце стояло в зените, когда царь и царица соизволили выйти из опочивальни. Утомленное лицо Тинатин казалось еще прекрасней. В глазах светилась сладкая истома. Упоением дышало все ее существо. Это еще сильнее подхлестнуло веселье.

Единение душ?! Кому был досуг думать о душе на этом пиршестве страсти? Кто был в силах проникнуть в тайники сердца и узреть судороги бесплотной души в этой вихревой пляске плоти?!

Леван с головой ушел в заботы о приумножении земель. Результаты его стараний не заставили себя долго ждать. Первым — была блестящая победа над Ширваном. Поначалу Леван и в мыслях не имел направить острие меча против Шаки-Ширвана. Ему приглянулся пограничный район Картли и хотелось обставить дело так, чтобы карталинский царь Луарсаб вместо обиды выразил благодарность.

В то время Тбилиси все еще находился в руках у персов. Крепости Нарикала и Мцхета также были под их началом. Башни этих крепостей щетинились жерлами орудий. Ни днем, ни ночью не выпускали персидские воины сабель из рук. Правда, левый берег Куры по-прежнему контролировался персами, Сагурамо, Сабаратиано и Эрцо-Тианети не могли оправиться от постоянных набегов, и все же каждый день мог стать роковым для насильников. Если грузинские

войска перережут единственный путь сообщения с Персией, то весь гарнизон окажется в железных клещах. Это вынуждало персов с особенной тщательностью охранять Самшвилде.

Царь Леван уже покорил Пшав-Хевсурети, теперь он готовился изгнать врага из Эрцо-Тианети и Сагурамо, присоединив их к своим владениям. Он сообщил Луарсабу, что намерен потеснить персов, удерживающих некоторые районы правее Куры. Луарсаб одобрил план царя кахов. «Хорошо было бы, — писал карталинский царь, — укрепиться напротив Мцхета. А в скором будущем мы сможем протянуть друг другу руки и тем самым лишить врага этого канала для доставки съестных припасов. Да и вообще пробил час очистить Тбилиси и всю Грузию от нечестивцев».

Момент, действительно, был как нельзя больше подходящим. Тбилисский эмир не мог рассчитывать на помощь Шаха-Тамаза, погрязшего в междоусобной войне (у того появился соперник — претендент на престол, которому удалось взбунтовать не только Месопотамию, но и южные окраины Персии. Шах немедленно выступил в поход на непокорных).

Воспользовавшись удобным случаем, царь Леван лихорадочно готовился к войне. Уже разослали приказ явиться всем воинам ко двору, уже намечался день выступления, когда прибыл гонец от Андроникашвили. Моурави Кизикии писал: «Ширванцы коварно нарушили договор, напали на нас, разорили пограничные села. Я пустился за ними в погоню, настиг врага, захватил пленных. Они рассказали, что властитель Шаки-Ширвана Асан-бег со всем своим войском движется в сторону Кахетии».

Леван не мешкая отправился навстречу врагу. Сражение обещало быть не из легких. Под рукой Асан-бега находилось множество воинов да вдобавок ко всему он получил подмогу из Адарбадагани. Но и это не смогло решить участь сражения. Никудышным полководцем оказался Асан-бег, на хитрость врага клюнул. Леван предусмотрительно выдвинул вперед небольшой отряд. Сам же с главными силами засел неподалеку. Асан-бег решительно пересек границу Кизикии. Убедившись в малочисленности защитников страны (он был уверен, что Леван не успел прийти на подмогу), он с ходу ринулся на горсточку отважных воинов. Верил ширванец в удачу, не терпелось разгромить врага по частям. Отряд Андроникашвили дрогнул, начал отступать. Асан-бег преследовал его по пятам. Как гром среди бела дня, напали из засады грузины, опрокинули врага, обратили в бегство. Сломая голову бежали ширванцы, оставляя за собой горы трупов. Кахетинцы взяли в плен такое множество вражеских воинов, что здоровый мужчина ценился в десять марчили.<sup>1</sup> Лишь немногим удалось спасти головы. Асан-бег, смертельно раненный, умер в дороге. Властителем Ширвана был объявлен его сын Дервиш-Махмад.

Много выгод принесла эта война царю Левану. На первый раз шах заплатил победителю две тысячи туманов<sup>2</sup>. И дал слово каждый год выплачивать еще по тысяче. К тому же он обещал при первой надобности прислать в подмогу царю Левану пятьсот всадников, полностью снаряженных и обеспеченных провиантом. Во всеулышание объявил Ширванский шах себя покорным слугой царя Левана. Другого выхода не было. Ведь Левану ничего не стоило лишиться его владений и присоединить Ширван к Кахетии.

<sup>1</sup> Марчили — мелкая монета.

<sup>2</sup> Тумани — десять рублей.

В ответ на радостную весть о победе Левана над шахом Ширвана цари и князья прислали послов с поздравлениями и подношениями. Бесперывно прибывающие гонцы вносили еще большее оживление и разнообразие в пир победителей. Днем и ночью накрыт был стол, круглые сутки не покидало дворец веселье. Веретеном крутился меж гостей сахлтухуцеси<sup>1</sup> Гурген Джорджадзе: всем старался угодить, всех обласкать. Постоянная смена развлечений подогревала веселье. Грузины в ножны вложили омытое кровью врага оружие. Наступил черед мира и радости. Кахури, разливаясь по телу, с лихвой возмещало потерянную в боях кровь. Кому не ведомо, что красное вино капля за каплей превращается в кровь и бежит по жилам героя, не жалеющего жизни для родины!

И все же недолго пришлось Гургену потчевать гостей во славу хлебосольтва кахетинского царя. Неожиданное известие прервало празднество при дворе Левана. Блеск золота и серебра сменился сверканьем сабель. И если до сих пор лилось рекой кахури, то сейчас потекли реки крови.

Все началось с письма Луарсаба. Карталинский царь поздравлял Левана с победой, разделял его радость и благодарил за щедрые подарки. Под конец он просил как можно скорее прийти к нему на помощь, чтобы изгнать из Тбилиси врага.

«Шах-Тамаз занят междоусобной войной. Мы должны использовать удобную для взятия Тбилиси обстановку. Если нам это удастся, врагу негде будет укрепиться и придется убраться из Грузии. Самшвилде ему не видать, ибо по пути подстерегают отряды Родама Орбелиани, засевшего в Коджорском замке. Парцихская крепость в руках у Нугзара Бараташвили. Отныне самшвилдская дорога через Алгетское ущелье непроходима для врага. Единственный выход остается для него — отступить к Гатехили хиди», — сообщал Луарсаб и просил не медля тронуться в путь.

Прозорливый царь Леван предвидел подобный ход событий и по окончании ширванской войны предупредил своих ратников, что отдых будет недолгим, порох надо держать сухим. Поэтому ему не стоило больших трудов в течение нескольких дней собрать многочисленное войско. Дервиш-Махмад сдержал слово, прислав своему, как он писал, «соратнику и брату» довольно-таки внушительный отряд вооруженных конников. Ширванский шах не меньше других был заинтересован в успехе похода. Победа грузин была и его победой. Ибо Шах-Тамаз метал громы и молнии на подлого изменника и торжественно клялся проучить недостойного сына Асан-бега.

— Дервиш-Махмад думает, что я терплю поражение и уже не страшен для него. Ничего, уж я заставлю эту собаку отведать его собственного мяса! — грозился разъяренный шах.

Гнев Тамаза и толкал ширванца в объятия грузинских царей, вынуждал его взяться за оружие против Персии. Леван оказал отряду ширванцев знаки уважения, похвалил мужественных всадников.

Воины рвались в бой. Окрыленные недавней победой, они жаждали новых схваток, новых подвигов. То, что Тбилиси владели персы, тяжелым камнем лежало на сердце каждого грузина. Все содрогались при мысли, что неверные оскверняют святые места. Не мог вынести такого унижения народ. Пробил час смыть позор кровью врага.

Местом сбора воинов Леван избрал Алавердскую долину. Оттуда

<sup>1</sup> Сахлтухуцеси — правитель двора.

во  
г  
'  
легче всего попасть в Эрцо — кратким путем через горы. А из Эрцо ру-  
кой подать и до Сагурамо. К тому же не лишне прихватить отряд  
пшав-хевсуров. Таков был план царя.

24135730  
2123010133

Теснимый мятежниками Шах-Тамаз ни на минуту не отводил глаз от Грузии. Всячески старался он удержать в своих руках Тбилиси и тем самым всю страну. Ничем не брезгал, коварный, лишь бы надеть на местных властителей ярмо покорности. Однако не помогали ни речи медоточивые, ни обещания соблазнительные, ни подарки щедрые. К северу устремлены были взоры грузин, к стране снегов притягивал их магнит могучий, оттуда ждали они спасения родины. Это приводило Шах-Тамаза в ярость. Он отлично понимал, что первый шаг северного титана через Кавкасион будет последним днем господства мусульман в Грузии. Вот и торопился шах упрочить свое положение в завоеванной стране, закрыть для смертельно опасного врага Дарьял. Но он не мог добиться цели своими силами. Поэтому искал среди грузинских властителей надежного человека, кому помог бы покорить всех, объединить страну и править ею. Конечно, при обязательном условии — быть верным шахской тиаре. Однако где найти такого человека? Не пойдут на подобную сделку ни царь имеретинский Баграт, ни властитель Гурии Мамия, ни атабег Кваркваре, ни господин Картли Луарсаб, ни кахетинец Леван. Могут ли разделить правоверные чаяния мусульман.

— Конечно, нетрудно подыскать в Грузии надежного сообщника, какого-нибудь честолюбивого дворянина или военачальника. Но кому они нужны? Для осуществления моего замысла требуется один из сильных мира — или царь, или могущественный князь. Будь у Ширван-шаха или Зиад-оглы Гянджинского хоть крупица разума, имей он войско, тогда другое дело. Но откуда им взять ума? Я уже не говорю о войске. Леван запросто справился с Асан-бегом и поставил на колени его наследника, — говорил шах, тяжело вздыхая при одном воспоминании о поражении ширванца.

— Думами, одними думами не пособить делу. Грузия ускользает от меня. Нужны решительные действия. Нельзя бросать Тбилиси на произвол судьбы. Но что делать? Послать свои войска никак не могу. А что если втравить в войну гянджинского хана? Пусть укрепится в Тбилиси, навяжет врагу продолжительную войну. Тем временем я справлюсь с мятежниками и приду на помощь. Удержать, во что бы то ни стало удержать Тбилиси. Иначе мы погибли. Ведь грузины уже завладели Парцихи и Коджорской крепостью, отрезали нам дорогу, уничтожили связь между Тбилиси и Самшвилде — нашу опору в борьбе с врагом. Зиад-оглы — вот мой выбор.

Впрочем, выбора-то не было у шаха. Ереванский хан находился в Персии. Он вместе с Тамазом участвовал в войне против мятежников. А на других шах не мог положиться. Оставался только гянджинский бегляр-бег Шаверд Зиад-оглы. Ему и послал шах письмо, в котором велел немедля поднять меч войны на кахетинцев.

«Выполни мой приказ и получишь в награду не только Кахетию, но и Ширван. Грузин надо держать в узде, для чего необходимо создать на границе с Грузией могучее магометанское государство», — писал Тамаз.

Зиад-оглы предвидел, сколько хлопот сулит ему план шаха. Он к тому же не верил обещаниям Тамаза. В борьбе с мятежниками единственным союзником оказался ереванский хан, и коль скоро вопрос встанет о чьем-либо возвеличении, то эта честь не минует верного шаху

друга и соратника. Гянджинец крепко держал в памяти уроки прошлого и недавних лет: персидские властители взяли себе за правило не допускать сосредоточения в чужих руках большой силы. И несмотря на все доводы разума, Зиад-оглы вынужден был повиноваться приказу. Впрочем, успокоил себя властитель Гянджи, войска Левана измотаны войной с Ширваном, и нелегко ему будет справиться со мной.

Так полчища Зиад-оглы вторглись в Кахетию. Леван повернул армию к востоку, навстречу врагу.

Надежды Зиад-оглы на то, что войска Левана изнурены, не оправдались. Хотя его вторжение и принесло большой урон Кизикии, все же, столкнувшись с грузинами грудь с грудью, мусульмане не выстояли, пустились наутек. До самой столицы преследовал их Леван. Принудил открыть ворота крепости Гянджа, бросить оружие. Зиад-оглы на коленях просил прощение у победителя. Среди прочих трофеев оказалось несколько пушек, редкое для тех времен оружие. Леван велел войскам взять их с собой. Зиад-оглы клятвенно признал себя нижайшим слугой царя Кахетии.

Тинатин и Леван жили совсем отчужденно. Набожная царица, преклонив колени перед иконой, слезно молила создателя простить ей земные утехы.

Волокита Леван увивался за красотками, мотыльком порхал с одного цветка на другой.

На стороне от Тинатин искал он радости. На земле хотел найти блаженство небесное. Но не находил. Костер разврата — лишь видимость наслаждения, изнанка любви. Разожженный Сатанаилом, он подогревает только страсть, которая испепеляет душу, опустошает сердце.

Наскучившись кокетками, Леван с вожделением стал поглядывать на рабыню царицы. Иноземный цветок влек к себе мотылька пьянящим ароматом жарких стран. Но Гука, как на зло, ни на шаг не отходила от госпожи, тенью следовала за ней. Видя в Тинатин божество, она с благоговением смотрела на повелительницу восторженными глазами — синими озерами любви.

Время же продолжало свой бег. Воля царей послушно следовала за жизнью народа. Судьба народа звала на бой за Тбилиси. Сердце Грузии находилось в плену у персов, и необходимо было отвоевать его. Метехи и Нарикала приковали к себе глаза каждого грузина. Царь Леван не вложил в ножны отточенный в сражении меч: на нем запеклась кровь врага и не терпелось вытереть его о куладжи<sup>1</sup> неверных, придать клинку невиданный блеск.

— Недалек час, когда ты завладеешь столицей — удача сопутствует тебе. Затем объединишь силы с отцом моим и покоришь других царей. Этого ты легко добьешься. Имея за спиной Тбилиси, одним ударом сломишь сопротивление карталинцев. Вплотную подойдешь к Имеретии, — говорила Тинатин Левану.

— Заяви я права на Тбилиси, и не миновать войны с Луарсабом. Дружба обернется враждой. Много прольется крови.

— Война тебе не страшна. А что касается крови, то дорога на трон с незапамятных времен была устлана трупами. Да, потечет кровь грузин. Но от этого только выиграет народ. Ведь ты возродишь единую Грузию, возвысишь ее, даруешь людям счастье. Будь твердым. Уступить — значит все потерять. Groш цена твоим подвигам и победам,

<sup>1</sup> Куладжи — национальная одежда.



коли Тбилиси останется за другими! — настойчиво подзуживала Тинатин.

Разными дорогами шли воины, по-разному были они одеты и вооружены. Но всех всколыхнул один призыв, охватило одно чувство, одно стремление. Тбилиси стонал под игом персов, святые места осквернялись чужеземцами. Грузия вздыбилась на врага. И шли сыны отечества на бой за правое дело. Забвению предали цари вражду и усобицы, по-братски шли бок о бок, шли к сердцу отчизны. А впереди — святой Георгий. На белом коне гарцевал он перед войсками, указывал путь к победе.

Наступление началось. Несмотря на все старания, цели не удавалось достигнуть. Чем дальше продвигались карталинцы, тем больше трудностей встречали они по пути. К тому же персы умело лавировали конницей, нанося неожиданные удары то с одной стороны, то с другой.

Леван сломил сопротивление передовых частей врага и стремительно прошел все ущелье. Уже показались городские стены, можно было развить успех, но он боялся: враг мог нанести удар в спину. Задержав Луарсаба, персам легко было переправиться через Куру и с тыла напасть на Левана. Правда, Леван мог сделать то же самое: ударом в тыл врага помочь Луарсабу. Но где ему было взять плоты для моста? Да и план, разработанный совместно, не предусматривал этого.

Наступили сумерки. Бой прекратился. Грузинские войска отступили на прежние рубежи. Неудача озадачила царей. Как же действовать в дальнейшем? Окружить город? Перерезать пути? Взять врага измором, сломить голодом, жаждой? Сомнительный выход! Шах-Тамаз не сегодня-завтра одолеет мятежников, вернется из Месопотамии. Тогда, узнав об осаде Тбилиси, он непременно двинет свои полчища на помощь. Нет, нельзя надеяться на затяжную войну. Это только на руку врагу. Что же делать?

В это время к шатру подошел Ношреван. Он попросил у Луарсаба разрешение попытать счастье его отряду.

— Воспользовавшись темнотой, мы сможем на плотях незаметно войти в Тбилиси, — сказал Ношреван.

— Это рискованно! — усомнился кто-то.

— Да, просто безумие! — подтвердил военачальник.

Но юноша не отступал, упрямо стоял на своем. Пришлось согласиться.

Над городом стояла черная, непроглядная ночь. Ветер со свистом раздирает на клочья тучи. Он скулил в ущельях, рыскал по долине, швырял в глаза воинам песчинки, страшным воем оглашал все вокруг. Ношреван с четырьмя воинами плыл на утлом суденышке, которое прыгало по волнам, подобно щепке. За ним следовали плоты с отрядом смельчаков. С детства дружили они с морем и не пугались беснования Куры.

Персы были уверены, что ночь оградила их от нападения грузин, поэтому спали спокойным сном. Изнуренные страхом и непогодой часовые укутались в косматые бурки.

Плоты приближались к городу. Ношреван опасался, что персы загродили Куру переплетенными цепями, как это делали грузины на Риони или других реках, боясь внезапных налетов. Однако осажденным и на ум не пришла подобная мысль: они вверились темноте ночи. Люди Ношревана незамеченными прокрались в город, рассыпались по окраинам, подожгли дома. Тбилиси кольцом охватило пламя. Поднялся невообра-

зимый переполох. Перепуганные насмерть персы спросонья схватили сабли и принялись рубить налево и направо всех, кто попадался под руку. Звон набата перекрывал стоны и вопли. Страх перекидывался от улицы к улице, от района к району. Внезапное нападение ошеломило врага, заставило бросить сторожевые башни и укрыться в Метехской и Шурской крепостях. Персы поверили, что гюрджи напали с тыла и уже захватили город.

Войска Луарсаба и Левана, воспользовавшись замешательством врага, вошли в Тбилиси. Когда забрезжил свет, Тбилиси принадлежал грузинам. Лишь две крепости удерживал враг.

Горожане встретили освободителя — царя Луарсаба хлебом-солью. Затем низко поклонились его помощникам, вознесли им хвалу. Леван оказался в числе соратников карталинского царя, в числе его военачальников.

Царица без устали упрекала супруга, выплевывала ему в лицо свою ненависть.

— Уступил Луарсабу Тбилиси, на блюдечке преподнес сопернику корону, — язвительно говорила она. — Что ж, если тебе очень нравится, то называйся подданным Луарсаба, слугой карталинца. Нахлобучил на голову корону, а на что она тебе, когда ты всего лишь управляющий при дворе царя всей Грузии.

Леван, не в состоянии переносить горькие обиды, поспешно покидал спальню.

Тогда Тинатин принималась сравнивать его с Ношреваном. Тот представлялся ей мужественным воином, мудрым полководцем. Коронованный супруг же...

— Все войско Левана не стоит горсточки смельчаков Ношревана. Муж мой труслив, безволен, глуп. Ношреван мой бесстрашен, мудр, свободен. Он вверился сабле и силе своей десницы, Леван же — чужому разуму и храбрости подчиненных.

— Разве не Ношреван помог взять тебе, Леван, Тбилиси, ты же растерялся, не смог воспользоваться случаем. Любезно уступил добычу другому, баба ты этакая. Не от большого ума приказал ты явиться герою пред царские светлые очи. И получил по заслугам. Вздумал потом мстить рыцарю. Руки оказались коротки. Ношреван мой свободен, как ветер, горд, как орел, — не в его правилах склонять голову, подчиняться капризу царей! К коварству прибег ты, жалкий человек, но бог уберет достойного. Зато голова твоего посла слетела с плеч так, что даже кровь не запачкала меч Ношревана.

— Из-за кого, из-за этого карлика лишилась я счастья с титаном?! Ему, недостойному, отдала чистоту души и тела, подарила сыновей!

— Сатана пакостный, почему ты заморозил меня и бросил на ложе царское? Почему потребовал жемчуг редкостный любви и взамен посулил корону драгоценную величия? Где твои обещания? Обманул, ограбил, плут безжалостный!

И возник перед царицей Сатанаил льстивый, огнедышащий.

— Не порицай меня, смертная! Зря бранишься. Тверда моя клятва, сдержал я слово свое! Давай считаться! Царица ты величаяя — на голове корона, в ногах множество подданных и рабов, счастливая обладательница райского уголка. Супруга ты венценосца, мать златокудых наследников. Тебе завидуют женщины и девушки, княжны и княгини, жены и матери. Все я дал тебе! А что получил взамен? Лишь жалкое

подобие любви! Нет, это не жемчуг был, а фальшивый камень, простая подделка. Истинная любовь не подпускает меня близко к себе, не позволяет прикоснуться к ней! Но я довольствовался даже подделкой, ибо боюсь любви — этого бога во плоти, сопротивляюсь ему со дня сотворения мира.

Нет, не я обманул тебя, это ты провела меня!

Леван тихо открыл дверь и замер от изумления. Царица лежала, раскинув руки. Грудь ее ровно колебалась. У кровати дремала Гука. Руки ее обнимали колени госпожи, черные волосы струились на постель. На щеках трепетали жемчужные слезы. Легкая ткань одежды плотно облегла девственное тело. Колени были обнажены. Изменчивые блики от свечи, стоящей на высоком шандале, ласкали несравненную.

Завороженный мужчина не мог отвести от нее глаз. Он наслаждался лицезрением сказочной красоты. Сейчас не замечал он Тинатин. Тело ее казалось Левану трупом бездыханным, к которому припала плакальщица, прекрасная в своем горе.

И возжелал царь девушку. Вдыхать аромат ее кожи, ласкать волосы, щеки, груди, целовать, целовать до боли, до изнеможения. У Левана пересохло в горле, закружилась голова. Девушка, словно почувствовав устремленный на нее жадный взгляд, вся сжалась в комок.

Царь потрянул головой, будто хотел сбросить с себя оцепенение, и поспешно прикрыл дверь.

Побежденный страстью Леван решил намекнуть верному Вамеху о красавице Гуке. Вамех только и ждал этого. Выбрав удобный момент, он усыпил ее опиумом и отнес в комнату царя. Но тут грянула беда.

В последнее время Тинатин часто покидал сон. Терзаемая думами, она призывала служанку, отводила разговорам с ней душу.

И в эту ночь царица ударила в било, но Гука не появилась. Недобрые предчувствия охватили Тинатин. Не найдя служанки, она без предупреждения вошла в покои царя. На тахте лежала в обмороке нагая рабыня.

— Блудный пес! Тварь ненасытная! Только злодей способен на подобное.

— Забываешь, какая кара ждет тебя за оскорбление царя, — вышел из себя Леван.

— Ха, ха, ха! — странно засмеялась Тинатин и, подкошенная горем, рухнула на пол без сознания.

Слухи о вступлении царицы Тинатин в семью монахинь мигом облетели всю Грузию. Люди недоуменно пожимали плечами, удивлялись, что могло принудить молодую женщину отказаться от благ земных, отречься от величия, славы, роскоши. Кое-кто намекал на распутное поведение Левана, мол, искал он развлечения на стороне, слишком много внимания уделял чужим женам. Однако это в глазах людей не оправдывало бегство Тинатин. Ведь все могучие властелины имели слабость волочиться за красотками, лакомиться нектаром с чужих цветов. Стоило ли предавать эту легкую провинность такой огласке, нужно ли было выносить сор из избы? К тому же кахетинцы очень любили своего Левана, не позволяли они себе быть строгими судьями, не могли отвернуться от него сердцем.

— Все, в чем обвиняет Тинатин нашего царя, — семейные неурядицы — нельзя выносить их за порог спальни. Как могла царица из-за обычных маленьких ссор нарушить налаженный уклад государственной жизни? Она обязана была терпеть! — доказывали одни.

— Ваша правда, — соглашались другие. — В подобных случаях лучший выход — терпение. Конечно, царица могла предпринять кое-что для защиты своего самолюбия или поруганной чести. Но широко оглашать это она не имела права. Посудите сами, сделать семейную жизнь царя темой для разговоров, дать возможность всяким недругам точить лясы, ехидно улыбаться. Нет, трудно найти ей оправдание.

— Потешила врагов, огорчила друзей.

— Какое там огорчила, просто сделала их врагами. Я уже не говорю о Гуриэли, теперь он всячески будет стараться досадить нам.

— Зачем идти так далеко. Меня волнует другое. А что если наши жены вздумают последовать примеру царицы. Монастыри просто не вместят стольких желающих.

— Здорово сказано, молодчина! — хохотали мужчины.

Дамы со свойственной им словоохотливостью разбирали по косточкам поведение супругов, сплетня пристегивалась к сплетне.

— Правильно поступила царица, — решительно заявляла одна. — Мы должны взять с нее пример: ни за что не прощать мужчине измену.

— Умница, твоими устами глаголет истина! Подумать только, женатый человек бежит за чужими юбками. Кто поклоняется в одно и то же время богу и дьяволу, сами знаете, чего достигает.

— Когда в доме плачет голодный ребенок, нечего поглядывать на накрытый стол у соседей.

— Коли последуешь примеру царицы, душенька моя Кетеван, муженек твой не станет рвать волосы на голове.

— К слову говоря, царь еще молод, жениться ему в самый раз.

— С какой стати будет ходить он в холостяках. Конечно, женится. Постригшаяся Тинатин ему не помеха. Ведь монашество — что смерть для земных законов.

Злословили женщины, сеяли слухи, разносили тревогу. Многие даже радовались в душе: поделом гордычке, корчила из себя недотрогу и получила по заслугам.

Весть о пострижении Тинатин в монахини застала Левана врасплох. Удивился царь, растерялся, не знал, что ответить старцу Алавердели.

Вспомнил Леван страшные минуты, когда безжалостные слова супруги каплями яда падали на горячее его сердце. Вспомнил ночи, когда в плену высокомерия Тинатин издевалась над подвигами царя-воина, потешалась над его победами. Вспомнил, как, вернувшись с войны, ждал от жены одобрения, нежности, ободрения, а получил взамен упрёки, презрение. Вспомнил отчаяние, порожденное жестокими речами царицы, озлобление, мысли о мести.

Царь вздохнул с облегчением. Кошмарным сном казалась ему прошлая жизнь с Тинатин. Забрёзжил рассвет новой жизни, улыбнулась надежда счастья, которой был лишен Леван в супружестве с царицей. Тинатин покинула Греми. С этого дня их пути разошлись, чтобы никогда не встретиться. И не нужна им встреча, не желанна!

Леван распахнул душу веселью. Все вокруг окрасилось в светлые тона, манили царя земные утехы. Казалось, он сбросил с себя тяжкий недуг, вырвался из когтей смерти и припал к звонкому роднику радо-

сти. И улыбалась ему с вершин Кавкасионн любимая Лейл-Кизи, которую отверг он когда-то, но не мог позабыть никогда.

— Приду, вернусь к тебе, желанная! Чиста любовь твоя, как горный родник, непорочна, как первый снег. Сердце зовет меня к синим вершинам, к любви, к сладкому счастью. Иду, иду к тебе, многострадальная моя Лейла!

И царь приказал готовиться к охоте. Приближенные с радостью встретили эту весть. Они верили в целебные свойства горного воздуха, свежей форели, родниковой воды. Они верили в удачную охоту.

Приближался день великого поста. Зима нехотя уступала место весне. Слежалый снег потрескался, обнажая еще сонное лицо земли. Сады Алазанской долины прихорашивались. Лишь до храма Алаверди не доходило свежее дыхание весны. Величественно восседая на гребне отрога, упорно не желал он сбросить с плеч снежную бурку.

Но сегодня солнце выманило во двор настоятеля храма. Старец сидел в полудреме на низеньком стульчике. Погруженный в думы, он даже не заметил, как к воротам подошел какой-то странник в монашеском платье. Нерешительно войдя во двор, странник обратился к священнику:

— Мир тебе, отче!

— Благослови тебя господь, сынок! Откуда ты?

— Богомолец я, идущий в дальний путь. Решил просить приюта у настоятеля святого монастыря.

— Оставайся, сын мой, отдохни: двери монастыря всегда открыты для гостей.

— Когда могу повидать настоятеля?

— Настоятелем монастыря является Алавердели, и ты уже принял от него благословение.

— Как?—удивленно воскликнул странник.—Я говорю с самим Алавердели? — И он почтительно преклонил колено, припал к руке епископа.

Одинокого монаха приютил храм Алаверды. Проходили дни, недели, месяцы. Постриженец, приютившийся в стенах святого монастыря, не терял времени зря. Он работал на огороде, в саду, в поле. Умелым оказался человеком, нужным. Всякая работа спорилась у него в руках. Редкой силой он обладал. Совершенно не знал чувства страха. Один ходил в горы, в дремучий лес. А однажды просто изумил монашеское братство и крестьян.

На берегу Алазани у монастыря была прекрасная пашня. Урожай в тот год был на редкость обильный. Но дьявол окаянный и здесь чинил козни. По его наущению на пашню повадился медведь. Днем зверь скрывался в прибрежном лесу, ночью же топтал хлеба. Ничем не смогли монахи отвадить проклятого, ни молитвами, ни святой водой, ни ночным бдением. Тогда молчаливый монах испросил у епископа разрешения подкараулить медведя. Вечером один, взяв с собой только саблю, направился он на пашню. На другой день монахи нашли труп огромного медведя. Зверь валялся с расколотой надвое головой и обрезанными лапами. Монах вернулся в обитель в ссадинах, одежда на нем превратилась в лохмотья. Удивленные крестьяне невольно прониклись к нему уважением, граничащим со страхом.

Одно лишь вызывало всеобщее недоумение. Монах никогда не говорил ни с кем. То ли проглотил язык, то ли дал обет молчания. Бывало, целую неделю не проронит ни единого слова. Порой находила на мона-

ха скорбь, тогда он исчезал из монастыря, пропадал неделями нивесть где. Никто не знал, где блуждал он целыми днями, где настигала его ночь, где заставлял его рассвет. Затем, как ни в чем не бывало появлялся странный отшельник в монастыре, с яростью брался за работу. Кажалось, хочет изнурить себя, заглушить в сердце тайную боль. А что на сердце его лежала тяжелая скорбь, никто в этом не сомневался. Иногда монах забывал обо всем и, прислонившись к дереву, горько рыдал. Братья во Христе заметили, что подобное происходило с отшельником вслед за упоминанием в разговоре царицы-монахини.

Необычное поведение монаха сделало многих его врагами. Они наушничали, распускали злые слухи, требовали изгнания его из божьего храма. Но Алавердели каждый раз ссылались на чудесный голос постриженца. Действительно, с первого раза, когда приютившийся странник запел вместе с церковным хором, всех покорило его исполнение песнопений, сладкозвучные голоса. После литургии епископ перекрестил монаха, говоря:

— Да усладит твою душу создатель, как усладил ты слух мой!

Пение его было пронизано такой скорбью, в нем чувствовалось столько страданий, что во время служения великого поста молящиеся рыдали навзрыд.

Шел второй день пасхи, храмовой праздник Цхракари. Раньше на ее месте стояла молельня тушинцев. Однако незадолго до описываемых событий, по желанию царицы Тинатин молельню эту перестроили в христианскую церковь. С тех пор не прерывался поток паломников ко храму божьему. Тинатин жила здесь недолго, вскоре она переселилась в Шуамта, но во время праздников и торжественных служб непременно навещала Цхракари.

Вот и сегодня все с нетерпением ожидали ее появления. Церковь была битком набита людьми. Тинатин, опустив голову, быстро прошла к алтарю, перекрестилась и стала у правой колонны. В некотором отдалении от нее склонилась перед образами верная служанка Гука. Опустив ресницы и поднеся к подбородку сложенные ладонями внутрь руки, она о чем-то просила бога на родном языке.

На притихшую у колонны Тинатин все смотрели с сочувствием. Глаза монахини потухли, нос заострился, щеки приняли цвет пепла, руки напоминали две восковые свечи. Она казалась совершенно обесиленной: во время литургии часто опускалась в глубокое кресло.

— Много перенесла царица. Видать, сломило ее горе. Не жилец она на этом свете, — переговаривались люди.

За левой колонной стояли монахи храма Алаверды. Они пели слаженным хором. И все же в их песнопениях выделялся один голос, сиротливо рыдающий под куполом. Царица внимала ему и не могла вспомнить, где она слышала этот голос. Она даже попыталась разглядеть монахов, но колонна укрывала их. Незаметно для себя Тинатин мыслями унеслась в Гурию, когда будущее казалось ей таким заманчивым, светлым, когда судьба сулила ей величие, любовь, счастье. А губы по-прежнему творили молитву.

Молилась и Гука. Но странно — она почему-то волновалась, минутно оглядывалась, иногда приближалась к царице, наклонялась к ее уху и тут же отходила на прежнее место. Наконец не вытерпела и шепнула Тинатин:

— Госпожа, это он, я его сразу узнала, по глазам узнала. Да, да, это тот самый человек, что встретился мне у монастыря.

Тинатин ни словом не ответила служанке, даже не оглянулась. Только щеки ее покрылись краской, да в глазах вспыхнул огонь.

Окончилась литургия. Выйдя из церкви, Тинатин увидела ожидающего ее монаха. Он упал на колени, прижал к губам край ее платья.

— Великая царица! Властительница моя, Тинатин! Лучше бы ослепли мои глаза, чем увидеть на тебе черное платье вместо порфиры.

Узнаешь ли, Тинатин, твоего верного раба Ношревана?! — отшельник горько зарыдал.

— Ты ли это, Ношреван? Твой ли голос скорбный слышала я в церкви? — со слезами в голосе сказала Тинатин. Она шагнула, взяла монаха за плечи и поцеловала в лоб.

Окружающие замерли от удивления. Но это длилось недолго. Вдруг зашумел народ, послышались вздохи, рыдания.

Кахетия наполнилась слухами.

— Царица наша занемогла, — говорили одни, — призвала к себе Алавердели и приняла причастие.

— Не могу в толк взять, — недоумевали другие, — лекарь не нашел никаких признаков тяжелой болезни, а Тинатин тает на глазах.

— Слышал я, — доверительно говорил третий, — детей велела привести, благословить хочет перед смертью. Уже и завещание составила.

Гулкан отписала по духовной быть настоятельницей монастыря.

Однако слухи эти мало кого трогали. Тинатин не стояла уже у кормила власти, ореол ее померк. Простая любознательность привлекала людей к событиям монастыря Шуамта.

Но был в Кахетии один человек, в сердце которого терниями вонзались слухи о Тинатин — это отшельник Ношреван.

Однажды вечером к Цхракари подъехал всадник. Он кликнул монаха и сообщил: царица заболела, просит тебя прийти. Отшельник не медля ни минуты вскочил на коня.

Войдя в келью царицы, Ношреван не поверил своим глазам. Тинатин так исхудала, что, казалось, кожа ее просвечивает. Черные волосы, раскинутые на подушке, подчеркивали бледность ее лица. Огромные глаза горели предсмертным светом.

— Ты пришел, Ношреван? Вот и хорошо! — Она попыталась поднять голову, но не смогла. Бледная улыбка искривила ее губы. — Призвал меня к себе отец небесный. В последние минуты хотела видеть тебя рядом, ведь ты мне самый близкий человек на свете.

— Я всегда был рядом с тобой, любовь моя!

— Исстрадался ты, Ношреван?

— Безмерно, царица моя! Смерти искал я, но она отвергла меня.



Видения радужные предстали взору Тинатин. Лицо просияло, свет забрезжил во взгляде, две слезинки повисли на ресницах.

— Молитесь о душе моей! — проговорила царица заплетающимся, как у младенца, языком.

Ношреван опустился на колени перед ложем мученицы, горячими слезами покрыл ее охладелую руку. Осветилась обитель. Влетели светлый ангел и злой дух чернокрылый. Посланец бога коснулся лба царицы, и свет окружил ее чело.

Злой дух расправил крылья:

— Служила душа ее тщеславию грешному и принадлежит мне.

— Страданием очистилась она, посторонись! — молвил ангел.





Георгий Маргвелашвили

## Об аргументах истины

В номере шестом «Литературной Грузии» я ознакомился с продолжением обсуждения вопросов художественного перевода и, поскольку статьи Л. Каландадзе и В. Геташвили почти целиком сводятся к полемике с моей статьей «Творчество перевода» (а мне кажется, стоило выйти за ее пределы в интересах дела), я считаю нужным выступить с нижеследующей репликой по ходу дискуссии и, так сказать, в порядке ведения спора. Никаких принципиальных вопросов художественного перевода я в этой реплике затрагивать не стану, а коснусь лишь полемических приемов, к которым прибегают мои оппоненты и к которым, как увидит читатель, им вряд ли следовало прибегать, если они желали оставаться на почве действительно принципиальной.

Элементарным условием ведения любого спора является желание, умение и даже обязанность считаться с тем, против чего ведется полемика, т. е. полемизировать с подлинными, а не с мнимыми утверждениями автора, с им высказанными, а не приписанными ему суждениями. Таковую самоочевидную этику спора тем более можно было ожидать в статьях, весь пафос которых состоит как раз в защите наибольшей точности передачи одним автором произведений другого автора. К сожалению,

эта этика спора в статьях Л. Каландадзе и В. Геташвили не соблюдается. Вся положительная часть их программы (т. е. те требования, которые они сами формулируют применительно к переводу) полностью совпадает с целым рядом основных тезисов статьи, против которой они с жаром возражают, а вся отрицательная, полемическая ее часть бьет мимо цели, т. к. противопоставлена не суждениям, высказанным в статье «Творчество перевода», а суждениям, придуманным самими полемистами, приписанным мне, прямо скажу, фальсифицированным (это в статье-то, озаглавленной — «...против фальсификации»!). Основная суть подобного приема заключается в том, что везде, где я выступаю против метода **подстрочного** (т. е. дословного, строка в строку) сопоставления перевода и оригинала, мои оппоненты сознательно опускают слово «подстрочного» и после этой манипуляции гневно обвиняют меня в том, что я выступаю против сопоставления перевода и оригинала **вообще**. Обе статьи, по сути дела, сводятся к этой одной-единственной нехитрой операции. Но чтобы не быть голословным, позволю себе привести ряд выписок (точных!) из статей Л. Каландадзе и В. Геташвили и показать, насколько их полемическое острие бьет в цель подлинную, а не мнимую. Надеюсь, мои оппоненты не будут на меня в обиде за то, что я сам прибегну к методу подстрочного, буквального сопостав-

Начало дискуссии по вопросам поэтического перевода см. в ЛМ № 1, 2, 3, 5, 6, 7.

ления, вполне допустимого в теоретическом споре. Итак — Л. Каландадзе: «Не боясь навлечь на себя гнев моего молодого... друга Г. Маргвелашвили, который так решительно и в такой живописной форме восстает против сопоставления, должен сказать: я, горемычный, тоже думаю, что сопоставление подлинника и перевода является основным и необходимым условием... анализа перевода. Насколько я мог понять, Г. Маргвелашвили развивает такую теорию творческого перевода, которая, по существу, стирает всякие грани между оригинальным творчеством и переводом и тем самым вообще исключает перевод. Сопоставление оригинала и перевода Г. Маргвелашвили считает страшным посягательством на истинную поэзию, на общепризнанные достижения любой переводной литературы». Далее: «Г. Маргвелашвили считает, что... сопоставление перевода и подлинника не имеет никакого смысла».

И выше: «Однако же мне кажется, не надо забывать, что перевод все же есть перевод, что переводчик-творец зависим от подлинника и что свобода его заключается в творческих поисках наиболее удачных средств для полного, равноценного и равносильного перевоссоздания подлинника...»

В. Геташвили: «Через всю статью «Творчество перевода» красной нитью проходит мысль о неограниченной творческой свободе переводчика».

И ниже: «Нет, переводчик не свободен, он ограничен той целью, к которой должен стремиться, а именно — наиболее полно и верно воспроизводить оригинал средствами другого языка».

Как видим, в выписках из статей обоих авторов есть и полемическая, и позитивная часть. Посмотрим теперь, как все это соотносится со статьей «Творчество перевода». Привожу соответствующие выписки:

«Итак — главное в сопоставлении подлинника и перевода. Верно ли это? Не будем спешить с ответом на этот вопрос. Он не так прост. Не так прост хотя бы потому, что само требование сопоставления подлинника и перевода нуждается в толковании, расшифровке. Только уяснив... что именно понимается под «сопоставлением», какой смысл вкладывается в

это требование, можно пытаться ответить и на заданный вопрос. **Сопоставление чего с чем в подлиннике и переводе? Вот в чем суть вопроса».**

Уже из этой выписки, при желании, можно понять, что я также считаю главным условием анализа перевода его сопоставление с подлинником, только настаиваю при этом на полном уяснении смысла, который вкладывается в это требование, т. е. на уяснении самих **принципов сопоставления**. Позвоительно спросить, с каких это пор желание **определить** те или иные принципы расценивается как **отрицание** самих принципов?

Но пойдем дальше:

«Дело в том, что она (Л. Хихадзе) подменила анализ фиксацией, **подстрочным сопоставлением**... Не спорю, в ряде случаев она таким путем тоже смогла указать на действительные переводческие промахи (точно так же, как любой эмпирический подход к явлению не исключает верности частных наблюдений), указав в иных случаях и на промахи мнимые. Но верность отдельных эмпирических наблюдений отнюдь не определяет верности метода в целом. О, как легко в этом будет убедиться, если с подобным принципом анализа, с «методом» **подстрочного сопоставления** подступиться к лучшим, общепризнанным достижениям любой переводческой литературы. Какой чудесный мир будет «разрушен», не выдержав «ударов» грозного тарана «сопоставления»! И ниже: «Имеет ли... хоть какой-либо смысл путем **подстрочного сопоставления** выискивать существующие и несуществующие отступления, подстрочные несоответствия между переводом и оригиналом?»

При желании, и здесь можно понять, что, если я возражаю против какого-либо вида сопоставления, то **только и только** против сопоставления **подстрочного**, строка в строку, дословного, буквального. Можно понять и то, что, взяв в кавычки известные слова в фразе «Какой чудесный мир будет «разрушен», не выдержав «ударов» грозного тарана», я в иронической форме высказался о несостоятельности способа подстрочного сопоставления, о мнимой «разрушительной» силе его якобы грозных «ударов». А если это ясно, то чем же объяснить гневную филиппику Л. Каландадзе: «Кавычки, ко-

нечно, не снимают трагического(!) тона этой фразы. Но зачем такой трагизм? Когда и где грозный таран сопоставления разрушил чудесный поэтический мир?»

Пусть судит читатель, насколько желательны в любой дискуссии такие приемы полемики.

Но пойдем дальше. Может быть, выступая против подстрочного сопоставления, я предлагаю такую формулу, которая сама по себе является для моих оппонентов неприемлемой? Посмотрим. Вот они, эти общие формулировки:

«Достижение того идейно-художественного воздействия на читателя, которое испытываешь при чтении оригинала, при знании оригинала, при понимании оригинала, при максимально-полном идейно-эстетическом постижении оригинала — вот задача задач, вот конечная и главнейшая цель художественного перевода».

В другом месте:

«Один из лучших советских практиков и теоретиков художественного перевода Иван Кашкин говорит о «тройке, но единой по существу верности», которую предполагает реалистический перевод — «верности подлиннику, верности действительности и верности читателю». Это единство и есть диалектическое единство средств, цели и конкретной исторической обстановки, в которой эта цель ставится и достигается».

Неужели можно, оставаясь принципиальным и беспристрастным, объявить вышеприведенные формулировки проповедью «неограниченной творческой свободы переводчика» (В. Геташвили) или «такой теорией творческого перевода, которая, по существу, стирает всякие грани между оригинальным творчеством и переводом и тем самым вообще исключает перевод»? Пусть об этом судит читатель.

Но, быть может, давая правильные **общие формулировки** (принципиальный и беспристрастный оппонент должен был бы в таком случае хотя бы отметить это, тем более, если они совпадают с его общими формулировками), автор статьи «Творчество перевода» **впадает в ересь при изложении конкретных требований к переводу, как раз при толковании того, что с чем и как следует сопоставлять**

в переводе и подлиннике? Мне **оиять** придется привести **небольшой ряд «сопоставлений» — выписок из наших статей.**

Л. Каландадзе: «Если руководствоваться теорией Г. Маргвелашвили, то нет нужды сравнивать строки, строфы, образы перевода или даже, весь перевод на какой-нибудь язык, хотя бы пушкинского стихотворения «Я помню чудное мгновенье» со строками, строфами, образами оригинала или даже с оригиналом в целом, а надо обратиться ко всему творчеству Пушкина, и там искать соответствия силы, поэзии и черт лирического героя этого стихотворения в оригинале и переводе».

Действительно, какими смехотворными выглядят мои суждения в подобном изложении! То я выдвигаю абсурдную теорию, вообще запрещающую сопоставление перевода с подлинником; теперь же я разрешаю сопоставление перевода, но не с данным, оказывается, оригиналом, а только с творчеством переводимого автора в целом! Я бы сам с удовольствием посмеялся над подобными, с позволения сказать, «теориями». Но полноте, так ли действительно сказано в статье «Творчество перевода»? Посмотрим же. Говоря об общем «соответствии черт **лирического героя** в оригинале и переводе» (**чтобы ниже обратиться к вопросу о соответствии образной системы и стиля перевода и оригинала**), я пишу:

«Ну а чтобы достичь такого сопоставления (т. е. сопоставления черт лирического героя) **мало сравнить слово со словом, образ с образом, строку со строкой, строфу со строфой, а иной раз даже стихотворение со стихотворением. Нужно сравнить поэзию с поэзией. Поэтический мир с поэтическим миром**».

Я говорю «мало сравнить». Мой оппонент излагает — не надо вообще сравнивать. Я говорю — нужно сравнивать не только частности, но и целое. Мой оппонент излагает — нужно сравнивать не частности, а только целое. Как назвать такой прием полемики?

Но может быть я ограничиваюсь требованием такого сопоставления лишь в пределах соответствия поэтической силы и черт лирического героя перевода и оригинала? **Может**

быть, я на этом ставлю точку? Ведь пишет же Л. Каландадзе:

«Впрочем Г. Маргвелашвили не прочь допустить некое сопоставление с целью выявления «соответствия силы перевода и оригинала», «соответствия черт лирического героя в оригинале и переводе»... И как все это утверждение ни обрамлено разными «красивостями» (иной раз даже хочется сказать: не говори, друг мой, Аркадий, так красиво), оно все же вгоняет мысль в абстрактные понятия — поэзия вообще, поэтическая сила вообще, черты лирического героя вообще и т. д. И тут-то широко открывается дверь для всякой фальсификации».

Вторит же ему и В. Геташвили:

«В рассуждениях Г. Маргвелашвили преобладают оценки и характеристики с «человеческой» точки зрения: если у автора герой «безукоризненно нежный» или «от мяса бешеный», то и у переводчика он должен быть таким. Но у каждого автора свои особые приемы, посредством которых выражается идейное и эмоциональное содержание произведений, тяготение к тем или иным образам, а также к формам их построения... И не должен ли отобразить все это переводчик?»

Как все это очевидно! И каким надо быть наивным, чтобы против всего этого возражать, все это не учитывать! Но давайте приведем рассуждения самого Г. Маргвелашвили, а не его «иноязычное перевыражение».

«До сих пор мы говорили о поэтическом мире в смысле его человеческого содержания, но он, этот мир, выражается через образную систему автора. Человек — это стиль. Человек — поэт — тем более. Но и стиль — это отнюдь не набор метафор и сравнений, размеров и ритмов, что, якобы, может поддаться простому подстрочному сопоставлению. И тут я не могу не солидаризироваться вновь с М. Завериним, который лишней раз напомнил в своей статье о необходимости целостного восприятия всего произведения (переводчиком, а вслед за ним и читателем), как единства его идейно-художественных компонентов».

И ниже общий вывод: «...С особенной силой убеждаешься в необхо-

димости не подстрочных соответствий... а в необходимости соответствия духа подлинника и перевода, силы их, облика лирического героя, человеческого и поэтического мира, образной системы и стиля в его целостном восприятии...»

Чей же, после этого, спрашивается, критический метод «широко открывает двери для всякой фальсификации»?

Приемы полемики, о которых мы говорили выше, применяются моими оппонентами и в рассмотрении более частных вопросов, увязанных, конечно, с общими. Так, например, Л. Каландадзе пишет:

«Синий цвет» сильно переведен на русский язык, но едва ли сам поэт-переводчик исключает возможность еще более совершенного перевода. А по теории Г. Маргвелашвили выходит так, что мы должны навсегда застыть на достигнутом...»

А вот что пишу я:

«...Нет раз и навсегда данных решений... И если существуют десятки переводов «Фауста» и «Гамлета», то... потому, что возникла, возникает и будет возникать потребность... великие творения прошлого... «перевыразить»... для современника. Но и этого мало. Одна и та же вещь может быть несколько раз переведена в одну и ту же эпоху, даже одновременно... Ибо художник-переводчик одержим задачей открыть в оригинале все новые и новые грани, сделать достоянием человечества все новые и новые таящиеся в нем богатства».

Где же, спрашивается, «теория Г. Маргвелашвили», согласно которой «мы должны навсегда застыть на достигнутом»? И разве такое рассуждение Г. Маргвелашвили означает, что он отказывается видеть в оригинале того же стихотворения «Синий цвет» — «неразведанные глубины»? Или что он хоть где-то, хоть как-то, «волей или неволей», как пишет Л. Каландадзе, дает повод думать, «что подлинник не равноценен переводу»? Poleмические приемы моего оппонента, как мы видели, не отличаются вообще особой щепетильностью, но в данном случае, когда речь идет о чудеснейших шедеврах грузинской поэзии, о святой-святых грузинского народа, такого рода от-

сутствие щепетильности вызывает особое сожаление.

Таким образом, совершенно ясно, против какого «тарана сопоставления» выступаю я в статье «Творчество перевода». Ясно, что я, с одной стороны, возражаю против педантичного и нетворческого приема дословного, буквального, подстрочного сравнения переводов с оригиналами, и, с другой стороны, именно усиливаю, повышаю, **расширяю** требования к переводу, когда обязываю переводчика не **ограничиваться** адекватностью слова, образа, строки, строфы и призываю добиваться адекватности образной системы и поэтического стиля в целом, идейно-художественной силы произведений, облика их лирических героев, т. е. адекватности человеческого мира произведений, выраженного через их поэтический мир. Если это считать призывом к «неограниченной свободе» и «стиранию граней между переводом и оригиналом», тогда что же, собственно, считать высокими идейно-художественными требованиями к переводу, которые, кстати, выдвигаются впервые не мной, а лежат и в основе переводческой практики советских поэтов и в основе теории перевода, разработанной как самими переводчиками, так и лучшими силами наших литературоведов и критиков.

Но, может быть, я, будучи и прав в своих теоретических требованиях (правда, именно это отрицалось моими оппонентами), ошибаюсь в их применении к конкретным случаям художественного перевода, ошибаюсь в оценках тех или иных конкретных переводов или переводческой практики отдельных поэтов? Может быть, «таран подстрочного сопоставления» мною придуман для того, чтобы оправдать фальсификаторскую практику некоторых переводчиков? Давайте посмотрим тогда, к чему на деле приводит принцип подстрочного сопоставления, против которого я возражаю и который берут под защиту мои оппоненты, не называя его, правда, подстрочным. Из конкретного материала, бывшего, так сказать, «в обиходе» дискуссии, я приведу примеры наиболее крайние, т. е. такие, которые считаются анализировавшими их критиками наиболее вопиющими образцами фальсификации ори-

гинала, произвола и своеволия переводчика.

Вот два перевода **Евгения Евтушенко** — «Жизнь» **Алио Мирцхулава** и «На смерть И. Чавчавадзе» **Важа Пшавела**. Советская поэзия и классика. В первом случае критик **М. Заверин** сопоставляет **одну строфу** перевода и оригинала и приходит к выводу: «Переводчик радикально меняет самую суть произведения... комментариин, как говорится, излишни! Здесь попросту другое стихотворение, которое написал **Евг. Евтушенко** и автором которого является только он». Таким образом, мы, по видимому, должны иметь дело с действительно вопиющим случаем переводческого произвола. Пример **одной строфы**, которую приводит критик, действительно может создать впечатление, близкое к выводу критика. Но в этом коротеньком стихотворении **две строфы**, и стоит их привести полностью, т. е. прибегнуть вместо **подстрочного** сопоставления к сравнению перевода и оригинала — говоря верными словами того же **М. Заверина** — в «единстве их идейно-художественных компонентов», как картина, мягко говоря, изменится. Сделаем это. Добавим к подстрочнику второй строфы, предложенному критиком, подстрочник первой, опущенной им, строфы стихотворения **Алио Мирцхулава**:

Здесь вечный гул волн и морской ветер,  
Разбивающий волны, расплавляющий  
льды,

Здесь нет стены, и нет ворот,  
К которым можно было бы привольно  
прислониться.

Зимой и летом, ночью и днем,  
Победоносно звучит быстрина.  
Наша жизнь — подобна ее волне,  
Она никогда не замерзает.

А вот и перевод **Евг. Евтушенко**:

Все громче гул ночной волны,  
Кипящей,

цвета нефти.  
Здесь нет ворот  
и нет стены,  
и прислониться  
негде.

И, в жизнь входя,  
вы знать должны, —  
ступить в ней часто  
некуда.

В ней тоже часто  
нет стены,  
и прислониться  
негде...

Можно ли найти в этом переводе недостатки? Безусловно, можно. Несомненно, стоит упрекнуть переводчика за то, что, очень верно передав в переводе изобразительный фон стихотворения (описание моря, прибоя, ветра), он с неординарной четкостью передал два поэтических «вывода», которые предполагают сравнение жизни с морем, что он, верно передав мотив «нет ворот, и нет стены», недостаточно проявил мотив «незамораживающей быстрины», хотя он и подразумевается в самом сравнении «кипящей волны» с «жизнью», которое есть в переводе. Короче говоря, можно Евг. Евтушенко упрекнуть в чем угодно, только не в том, что он якобы написал «попросту другое стихотворение», «автором которого является только он». Комментарии, как видим, не так уж излишни. И вот как раз за эти «комментарии», т. е. за более вдумчивый и глубокий анализ, чем тот, который предполагает подстрочное сопоставление, и выступили мы в статье «Творчество перевода».

Не излишни комментарии и в случае с переводом стихотворения Важа Пшавела, с переводом, который стал уже «притчей во языцех». Позволю себе привести сначала выписку из статьи Л. Каландадзе, который разделяет в этом случае мнение М. Заверина. Цитирую: «Евг. Евтушенко так «перевел» на русский язык стихотворение Важа Пшавела, что, как об этом пишет Михаил Заверин... даже специалисты не могли найти оригинал на грузинском языке. «Оказалось, из разных частей известного стихотворения Важа Пшавела «Памяти Ильи Чавчавадзе» (в нем пятьдесят строк) переводчик взял всего пять строк... Остальные сорок пять строк... оказались опущенными. Правда, переводчик предлагает свои замены, но, говоря по совести, вряд ли они в состоянии восполнить всю философскую глубину произведения Важа Пшавела». Нет, мы очень любим Евг. Евтушенко, но он, наверное, знает, как для нас дорог великий классик грузинской литературы Важа Пшавела и как мы хотим, чтобы Евтушенко оставался Евтушенко, а Важа Пшавела — Важа Пшавела, на какой бы язык они не переводились. Важа Пшавела так же, как, напри-

мер, Пушкин, не нуждается ни в каких заменах. А между тем Г. Маргвелашвили в восторге от таких замечаний и такого рода «переводов».

Прежде чем обратиться к самому переводу, я разрешу себе заметить, что нигде в своей статье я просто ничего не говорю именно об этом переводе Евг. Евтушенко и тем более не высказываю «восторга от такого рода «переводов», как пишет Л. Каландадзе. Я говорю о «верных» и «неверных» переводах Евг. Евтушенко из поэзии Мухрана Мачавариани, ни слова не говоря об его переводах из грузинской классики. Так почему же понадобилось моему оппоненту толковать мое высказывание о переводах Евтушенко из Мачавариани применительно к его переводу из Важа Пшавела? Не для того ли, чтобы получить в глазах читателя право на гневно-саркастическую филиппику, приведенную выше, и еще раз вывести меня в неблагоприятной роли грузинского литератора, «волей или неволей» недооценивающего — в прошлый раз — наследие Н. Бараташвили, а на этот раз — наследие Важа Пшавела? Пусть и в этом случае сам читатель дает название такого рода полемическим приемам.

Вернемся к переводу Евг. Евтушенко. С самого начала хочу подчеркнуть: я не собираюсь давать оценки этого перевода — это я могу сделать в другом случае. Я хочу лишь путем объективного и беспристрастного сравнения констатировать поэтические факты и тем самым показать опять-таки несостоятельность пресловутого подстрочного подхода к анализу перевода.

М. Заверин и Л. Каландадзе приводят страшные цифры: 50 и 5! 50 строк оригинала и 5 перевода, остальное — чистейшая отсебятина. Действительно, было бы очень плохо, если бы дело обстояло именно так. Но давайте «комментировать». Стихотворение Важа Пшавела написано традиционным шестнадцатисложным шаири с цезурой после каждого восьмого слога, т. е. размером, который в грузинской классической поэзии, начиная от фольклора и Руставели и кончая Давидом Гурамишвили и Важа Пшавела, может графически выражаться и в шестнадцатисложных строках с парной рифмовкой и в

восьмисложных строфах с рифмующимися второй и четвертой строчками. Таким образом, само по себе то обстоятельство, что в переводе Евтушенко не 50 (как у Важа), а 24 строки (5 из которых считают точными, а 19 — «заменой») может вызвать спор, но не должно вызывать безоговорочного осуждения, т. к. Евтушенко, переводя стихотворение Важа одиннадцатисложным размером с перекрестной рифмовкой в строфе, вполне имел возможность вместить в свой перевод все идейно-художественное содержание оригинала. Коротче говоря, тут спор с Евтушенко при желании можно было бы вести по вопросам строфики и метрики. Но пойдём дальше. Действительно ли только те 5 строчек, которые приводит М. Заверин, перевел Евг. Евтушенко? Это неверно. Эти пять строчек действительно переведены с наибольшим приближением к оригиналу и совершенно сознательно, ибо именно они являются для самого оригинала опорными с точки зрения его поэтической структуры. И я не знаю, какие мифические «специалисты», на которых ссылаются критики, могли не узнать знаменитой первой строфы стихотворения Важа Пшавела:

საძირკვლად აზრი ჩააგდე,  
ზედ დასდგი გრძნობის ტაძარი,  
მან გააბრწყინა სხივებით  
ჩვენი სამშობლოს მთა-ბარი.

(Фундаментом ты заложил мысль  
И поставил на нем храм чувства.  
Он осветил своим лучами  
Горы и доли нашей родной земли) —

в переводе Евгения Евтушенко:

Как много и как мало ты оставил  
На страждущей измученной земле!  
Храм чувства над вселенной ты поставил  
На мысли, как на каменной скале.

Только сторонники подстрочного сопоставления могли бы упрекнуть переводчика в том, что он переставил некоторые строки в пределах строфы или что «родную землю» он заменил «страждущей, измученной землей». Ведь в этих «заменах» нет ничего, что противоречило бы Важа Пшавела, а не выражало бы его мысль, его идейно-художественную концепцию. Так и в остальных случаях: рядом с максимально близкой передачей других опорных, ведущих, структурно и идейно главных мотивов стихотворения Важа Пшавела, Евтушенко при-

бегает к «перевыражению» сравнительно более свободному, но нигде не выходящему за пределы идейно-художественной концепции как данного стихотворения, так и Важа Пшавела вообще. А как же те 45 строк, которые переводчик, якобы, полностью опустил? Евтушенко действительно сделал две купюры в стихотворении (какие и почему — увидим ниже): одну в шесть и другую — в двенадцать строк, т. е. всего 9 строк в шестнадцатисложном измерении или 18 — в восьмисложном. В любом случае это не 45. Можно было упрекнуть за это переводчика, но зачем было чуть ли не утраивать эту цифру за счет всех строчек перевода, не переведенных с дословной точностью вышеупомянутых пяти строк? Посмотрим теперь, что это за купюры и почему к ним прибег переводчик. (Ведь «что» и «почему», кажется, должны входить в круг вопросов, исследуемых критиком?). Евтушенко опустил в стихотворении Важа два места, в которых упоминались персонажи двух произведений Ильи Чавчавадзе — «Разбойника Како» и «Базалетского озера». Эти литературные ассоциации, абсолютно понятные для любого грузинского читателя, могли оказаться не совсем понятными негрузинскому читателю, не знающему или не помнящему сюжета и основных мотивов этих произведений Чавчавадзе. Евтушенко решил, что в переводе, рассчитанном на единое, цельное, единовременное восприятие любого читателя, можно опустить иллюстративные, по существу, строки, которые требовали специального толкования и объяснения. Можно не согласиться с таким решением переводчика, но тогда нужно сказать читателю, о чем именно идет речь и с чем именно ты не согласен, а не ограничиться внешне эффектным сопоставлением цифр, за которыми, как мы убедились, вырисовывается несколько иная картина, чем та, которую нарисовали критики. Здесь мы не имеем возможности привести параллельные тексты оригинала и перевода, как в случае с небольшим стихотворением Алио Мирцхулава, но и этот случай можно отнести к ряду примеров (количество которых можно было бы умножить), свидетельствующих о несостоятельности

приема подстрочного сопоставления, против которого — и только против которого — я выступал в статье «Творчество перевода».

Вот и все, что мне хотелось сказать по поводу полемических статей Л. Каландадзе и В. Геташвили. Я не коснулся здесь тона этих статей, например, фельетонного, в ряде случаев, красноречия Л. Каландадзе. Тон и манера — личное дело автора. Мо-

жет быть поэтому не стоило и Л. Каландадзе писать о моем слого <sup>хотя</sup> бы следующее: «что и говорить <sup>о би-</sup>блие чувств умильных и <sup>и</sup> красота <sup>и</sup> слога — «дары божьи». Но они все же не аргументы истины». Я вполне допускаю, что мой слог мог вызвать такую оценку оппонента. Ну а что касается «аргументов истины», то о них, как выясняется, следовало думать не только мне.

*Лавросий Каландадзе*

## Реплика на реплику

Итак, Г. Маргвелашвили в своей реплике «Об аргументах истины» старается представить дело так, будто между нами — мной и В. Геташвили, с одной стороны, а с другой — Г. Маргвелашвили — нет существенных, принципиальных расхождений по вопросам поэтического перевода. Он пишет о нас: «Вся положительная часть их программы (т. е. те требования, которые они сами формулируют применительно к переводу) полностью совпадает с целым рядом основных тезисов статьи, против которой они с жаром возражают, а вся отрицательная, полемическая часть ее бьет мимо цели, т. к. противопоставлена... суждениям, придуманным самими полемистами, приписанным мне...»

Нет, неправда, расхождения есть, и очень существенные. Например, вслед за Л. Хихадзе я считаю, что для определения качества перевода и при анализе его необходимо сопоставление подлинника и перевода. Иначе говоря, для того, чтобы определить, соответствует или нет идейное содержание, художественная форма, поэтическая сила оригинала и перевода, надо сравнить оригинал с переводом как в целом, так и в частностях — строку со строкой, строфу со строфой, образ с образом и т. д., ибо вне этих конкретных компонентов словесного искусства нет никакой поэзии, никакой поэтической силы и никаких кон-

кретных черт лирического героя данного художественного произведения.

Таким образом, я думаю, надо исходить из конкретного и восходить к общему, или, вернее, в конкретном открывать общее. Перевод должен быть воссозданием неразрывного единства поэтической материи и поэтического духа оригинала.

А Г. Маргвелашвили мыслит по-другому. Он требует исходить из общего, не считаясь с тем, что в общее всегда можно вкладывать разное конкретное. А всякое другое конкретное неминуемо ведет к другому общему. Г. Маргвелашвили не придает существенного значения конкретной поэтической фактуре, живой плоти, живой материи художественного произведения. Что это именно так, можно убедиться, прочитав еще раз и хорошо вникнув в то, что он пишет: «Нужно сравнить поэзию с поэзией, поэтический мир с поэтическим миром. Нужно обратиться ко всему творчеству переводимого автора. И давайте уж условимся; если мы обнаружим соответствие в этом, если к тому же будет налицо и поэтическая сила... то обо всем остальном (слово, строка, строфа, даже иное стихотворение) следует судить, не забывая, что выполнена главная задача...»

Как видите, все конкретно-поэтическое (слово, строка, строфа, даже иное стихотворение) Г. Маргвелашвили относит к разряду «всего осталь-



ного». А я их не считаю «всем остальным». В своей статье — «Не за ремесленническую точность, но против фальсификации» я уже говорил (но приходится повторять), что «соответствие в этом» общем, т. е. соответствие поэтических миров, общих черт лирических героев и т. д., можно на каждом шагу обнаружить в творчестве различных авторов и поэтому «соответствие в этом» никак нельзя считать исходным критерием творчества перевода. Тем более, что оно, по моему мнению, открывает путь всякому своеволию и всякой фальсификации. А Г. Маргвелашвили, наоборот, именно «соответствие в этом» общем считает главной задачей и главной целью перевода. И если, по его мнению, эта главная цель достигнута, то «имеет ли, — спрашивает он, — хоть какой-либо смысл путем подстрочного сопоставления выискивать существующие и несуществующие отступления, подстрочные несоответствия между оригиналом и переводом?.. Нужно ли компрометировать средства, которыми эта цель осуществлена?»

С этой позиции и выступает он против Л. Хихадзе, обвиняя ее в эмпиризме. Но разве эмпиризмом можно назвать, например, то, что она с хорошим знанием русского и грузинского языков, с хорошим вкусом к поэзии сопоставила оригинал с переводом и убедительно показала и доказала, что под видом перевода на русский язык стихотворения грузинского поэта Ш. Амисулашвили Евг. Евтушенко — несомненно щедрый талант, как его называет сама Л. Хихадзе, — представил свое хорошее, сильное стихотворение «Мама», вся идейная направленность, философия и конкретная художественная структура которого, кроме разве двух незначительных деталей, ничего общего не имеет с оригиналом?

Не удивительно, что человек, стремящийся найти теоретическое обоснование таким подменам в переводе, не прочь будет оправдать, например, критика, который на русском языке пишет критическую статью о русском

поэте, но стихи его цитирует не по русскому оригиналу, а, скажем, по французскому переводу. Надеюсь, Г. Маргвелашвили вспомнит! Но хватит! Да, есть у нас с Г. Маргвелашвили принципиальные расхождения по вопросам теории и практики поэтического перевода.

Но, впрочем, если моему словообильному оппоненту на заключительном этапе дискуссии кажется, что существенных расхождений между нами уже нет, то это очень хорошо. Значит и в этом отношении дискуссия была полезной.

А доказать то, что мы (я и В. Геташвили) как будто выдумали какие-то суждения и приписали их Маргвелашвили, не удастся никакими хитро-сплетенными подстрочными сопоставлениями выхваченных из общего контекста цитат. Стоит также поставить вопрос: зачем нужно было это нам и почему только нам (мне и Геташвили)? Ведь с Маргвелашвили по тем же суждениям полемизируют и другие участники дискуссии! Вообще странно, почему Г. Маргвелашвили по каким-то не совсем понятным мне причинам старается принципиальный спор перенести на личную почву?

Как хорошо, что объективная истина является таким содержанием человеческих представлений, которое, верно отражая предмет, не зависит от субъекта, от нас... и тем более от наших субъективных пристрастий.

И слава богу, что есть статьи Г. Маргвелашвили («Творчество перевода»), В. Геташвили («Свобода, но не своеволие»), Л. Каландадзе («Не за ремесленническую точность, но против фальсификации») и других участников дискуссии и, что самое главное, есть объективный читатель.

И так как я не сторонник занимать страницы печатного органа лишь для защиты «чести мундира», если даже редакция и предоставляет эту возможность, то мне остается просить читателя, заинтересованного в выяснении вопроса, кто прав, кто не прав, прочесть еще раз эти статьи и дать беспристрастную оценку всем упрекам Г. Маргвелашвили в наш адрес.

## Беспорное в споре

На страницах «Литературной Грузии» развернулся спор об искусстве поэтического перевода. Все, кто читает журнал и кто имеет прямое отношение к обсуждаемому вопросу — к практике перевода, живо заинтересовались этой дискуссией. Основная проблема ее — цель перевода. И в общей трактовке этой проблемы все согласны.

В самом деле, Лина Хихадзе говорит: «...для художественного перевода необходимо сочетание точности и творческой свободы. Добиться того, чтобы перевод звучал, как оригинальное произведение, и, вместе с тем, сохранить национальное своеобразие подлинника и творческое лицо его автора — вот, несомненно, цель переводчика, сложная и вместе с тем благородная».

Да, все это несомненно и совершенно правильно. Но разве эту истину оспаривают М. Заверин или Г. Маргвелашвили? Нет, они говорят то же самое, правда, в иных формулировках и более развернуто, с уточнением ряда деталей.

«Достижение того идейно-художественного воздействия на читателя, которое испытываешь при чтении оригинала, при понимании оригинала, при максимально полном идейно-эстетическом постижении оригинала не только современником автора, но и современником переводчика — вот задача задач, вот конечная и главная цель перевода» — такова основная формула Г. Маргвелашвили. Но ведь это и значит, что перевод должен «звучать, как оригинальное произведение, и, вместе с тем, сохранить национальное своеобразие подлинника и творческое лицо его автора».

Внимательно проследив за ходом дискуссии, не трудно заметить, что все оппоненты предъявляют к искусству перевода одни и те же, правильные, да, кстати, и не ими установленные требования.

Эти требования сводятся к тому, что, во-первых, переводчик должен

быть талантливым, ибо всякий творческий труд начинается с таланта. Во-вторых, переводчик должен страстно любить, глубоко знать и тонко понимать переводимое произведение, переводимого автора и даже больше, художественную литературу, культуру, историю, быт и психологию народа, с языка которого переводит. Это, конечно, максимальное требование, но ведь речь идет об идеале, к которому должен стремиться каждый. Я уже не говорю о глубином знании языка как оригинала, так и языка, родного переводчику. Все это лишь предварительные, но необходимые условия успешной работы переводчика. Разумеется, что и при этих условиях не всегда и не каждый перевод будет удачен, ибо даже соловей не каждый день поет одинаково хорошо.

Из этих предварительных условий работы переводчика Г. Маргвелашвили в пылу полемики почему-то особый акцент делает на любви и творческой интуиции. «Если уж поэт действительно любит — он сразу, мгновенно постигает душу «чужой» поэзии, угадывает ее чувства и мысли, схватывает на лету, понимает все с полуслова, до боли остро видит еле заметное, до боли остро слышит еле слышимое. И тут «ничто не вольность», потому что все от любви, от понимания, от постижения, от озарения...»

Нет, мы никак не можем согласиться с этим хоть и красивым, но... просто неверным и обветшалым представлением о психологии поэтического творчества вообще, переводческого искусства в частности. Интуиция, догадка, «озарение» имеют вполне определенное место в процессе творчества, но абсолютизировать их — значит впасть в грех идеалистического представления о подсознательном характере творчества.

Когда речь идет о серьезном творческом труде, равном подвигу (я думаю, что сделать талантливый перевод «Вепхисткаосани» на русский

язык или «Евгения Онегина» на грузинский — это подвиг для поэта), то нельзя полагаться на свою богатую интуицию или страстную любовь. Здесь нужны годы упорного труда, чтобы добиться «максимально полного идейно-эстетического постижения оригинала», «знания оригинала», «понимания оригинала». А ведь уважающий себя переводчик и к переводу лирической миниатюры должен отнестись с такой же полной мерой ответственности, постижения и понимания.

Именно с пониманием, постижением оригинала связаны и проблемы свободы переводчика и его любви к переводимому произведению. Нельзя любить то, чего не знаешь и не понимаешь. Нельзя быть свободным там, где чувствуешь себя непосвященным в самые сокровенные тайны.

Г. Маргвелашвили, опираясь на поэтическую декларацию Е. Евтушенко, полемизирует с Линой Хихадзе, но весьма неубедительно. Примеры недопустимой отсебятины, подобные приводимым Линой Хихадзе, говорят не о любви и уважении, а о полном пренебрежении, — переводчик своим поступком совершенно явно говорит автору оригинала: «Ты, вот, не умеешь, а посмотри, как это можно и должно писать».

Я думаю, что переводчик имеет право, нет, обязан не переводить того, что не вызывает у него любви и уважения, но если уж берется переводить, то должен работать с уважением, любовью и вдохновением.

Г. Маргвелашвили защищает свободу переводчика. Но ведь в наше время никто не станет выставлять себя на посмешище в роли поборника буквализма и рабского копирования оригинала.

Свобода, смелость, даже дерзание (по терминологии Г. Маргвелашвили) оправданы лишь тогда, когда они приближают нас к наиболее полному, идеальному «перевыражению» оригинала средствами иного языка. Но если эта свобода и смелость приводят к подмене оригинала текстом (пусть даже хорошим!) переводчика, то это уже не смелость и не свобода, а произвол и отсебятина.

Стоит ли защищать произвол и отсебятину? Г. Маргвелашвили в конкретном случае с Е. Евтушенко считает, что нужно их защищать. Только поэтому в его статье появи-

лась филиппика против «тарана сопоставления».

Кому, как не Г. Маргвелашвили, должно быть известно (ведь ему не мало приходилось писать по вопросам перевода), что всякая критическая оценка перевода начинается с сопоставления оригинала и перевода, так же, как оценка произведения начинается с сопоставления его с действительностью (социально-исторической, эстетической, психологической и т. д.). Тем не менее, он все же находит возможным называть сопоставление «тараном», допуская, правда, что этот «таран» все-таки имеет право на жизнь в сфере сопоставления поэзии с поэзией, «соответствия духа подлинника и перевода, силы их, облика лирического героя, человеческого и поэтического мира, образной системы и стиля в его целостном восприятии в оригинале и в его иноязычном выражении».

Под данной формулой, хотя она и выражена в столь общем и неполном виде, вместе со мной подпишутся, пожалуй, и Лина Хихадзе, и другие участники дискуссии. Ибо именно такое сопоставление имела она в виду, когда приводила подстрочник целого стихотворения и переводной текст. И если она привела не оригинал, то не для того, чтобы обидеть переводчика, а с тем, чтобы не знающих грузинский язык читателей журнала посвятить в суть разительного «несоответствия духа подлинника и перевода».

Выходит, что «таран сопоставления» лишь одна из «полемических красот» статьи Г. Маргвелашвили, а не предмет для спора, ибо специалист по теории художественного перевода не может его оспаривать, если он не хочет перечеркнуть эту самую теорию, как научную дисциплину.

Ведь кому, как не специалисту, должно быть известно, что проблема перевода — это, в определенной мере, — проблема стиля, а проблематика теории художественного перевода базируется на материале сравнительной стилистики, на материале, добытом путем сопоставления различных национальных стилей, языковых особенностей в их историческом движении и конкретном проявлении в тех или иных произведениях.

Следовательно, научная разра-

ботка проблем теории художественного перевода возможна на основе именно сопоставления, сравнения и

тщательного анализа многочисленных явлений нашей интенсивной переводческой практики.

Сталинири

**От редакции:** Статьей осетинского критика Н. Джусойты редакция завершает дискуссию по вопросам поэтического перевода, несколько месяцев продолжавшуюся на страницах журнала. В дискуссии приняли участие поэты, критики и литературоведы, и обе стороны — переводчики и авторы переводимых стихов — смогли высказать свое мнение о наиболее важных проблемах переводческого искусства.

Впрочем, само разделение на «две стороны», конечно, весьма и весьма условно — столько уважения, любви и понимания особенностей грузинской литературы звучало в выступлениях и такого известного поэта-переводчика, как Павел Антокольский, и в статье Беллы Ахмадулиной, молодой, но уже немало сделавшей для популяризации грузинской литературы русской поэтессы. С другой стороны, слова признательности за большой и поистине творческий труд, слова, идущие от сердца и обращенные как к большим мастерам русской поэзии, так и к ее молодым талантливым представителям, являются основоопределяющими и в статьях грузинских авторов, — вспомните хотя бы знаменательные высказывания Л. Каландадзе, Г. Маргвелашвили и др.

Ход дискуссии — об этом сегодня можно уже говорить достаточно определенно — показал ее своевременность и важность. Не случайно в своем письме в редакцию журнала один из крупнейших русских поэтов, многолетний, испытанный друг грузинской поэзии Николай Тихонов пишет:

«Эта дискуссия очень нужна, и вы правильно сделали, что предоставили страницы «Литературной Грузии» для высказываний по этому важнейшему вопросу».

Со словами Н. Тихонова словно перекликается в своих выступлениях большинство участников прошедшего обсуждения. Подчеркивая своевременность дискуссии, они подробно говорили о достижениях и недочетах в нашем переводческом хозяйстве; вопросы теории и практики равно были в поле их зрения. Не удивительно, что говоря о практике перевода, об огромных достижениях русских переводчиков — мастеров яркого поэтического слова, о значительных достижениях издательств — центральных и республиканских, в частности, издательства переводной художественной литературы «Заря Востока», — деятельность которых позволила донести стихи и поэмы грузинских авторов до самых широких читательских масс, все участники обсуждения снова и снова повторяли мысль о необходимости постоянного, систематического внимания к переводу и переводчикам со стороны критики, всей нашей литературной общественности.

Обсуждение, особенно его заключительная часть, показало единомыслие участников дискуссии в понимании основных принципов перевода и его главных задач. Это проявилось, в частности, в том общем одобрении, с которым была встречена статья Л. Каландадзе, полемизировавшего с некоторыми положениями, выдвинутыми Г. Маргвелашвили.

Г. Маргвелашвили, верно говоря о необходимости всячески поддерживать работу талантливых переводчиков, о необходимости закрыть путь в «творчество перевода» ремесленникам, в то же время вольно или невольно отверг, как он выразился, «таран сопоставления», упустив тем самым по существу из виду конечную цель перевода, определенную точно еще В. Г. Белинским: «Он должен заменить подлинник для тех, которым он недоступен по незнанию языка» (об этих словах великого критика весьма кстати напомнил один из участников обсуждения).

Не случайно, Л. Каландадзе счел своей обязанностью четко подчеркнуть: «Бесспорно, сам по себе вопрос о специфике художествен-

ного перевода и о мере свободы переводчика-творца довольно сложен. Есть и могут быть различные толкования этого вопроса. Однако ж, мне кажется, не надо забывать, что перевод все же есть перевод, что переводчик-творец зависим от подлинника и что свобода его заключается в творческих поисках наиболее удачных средств для полного, равноценного и равносильного перевоссоздания подлинника, и только подлинника на другом языке».

Этому требованию, как показали участники обсуждения, отвечают все лучшие работы советских поэтов-переводчиков — будь то переводы с грузинского или с других национальных языков, о нем напоминают как опыт поэтов-переводчиков старшего поколения, заложивших основы советской переводческой школы и поднявших ее на огромную идейно-художественную высоту, так и труд талантливой поэтической молодежи, в руках которой — завтрашний день советской поэзии вообще и творчества перевода в частности.

Внимание и требовательность! Вот тезис, который мы находим во всех статьях дискуссии. Их авторы на убедительных примерах показали, что, упорно поддерживая все яркое, талантливое в переводе, нужно постоянно и неослабно бороться одновременно со всеми проявлениями как рабского буквализма, мертвого ремесленничества, так и своеволия, отсебятины (об этих двух наиболее распространенных грехах в переводческой практике образно говорилось в известном докладе на II Всесоюзном съезде писателей: «По старинке в карету переводчика впряжены три коня. Это, прежде всего, коренник, представляющий собой меру дарования переводчика. С двух сторон коренника, как водится, пристяжные. Слева — весьма норостивый, капризный конек, несущий всякую околесицу отсебятины, рвущийся на вольный простор вольного перевода и переложения. Справа — унылая, подслеповатая кляча буквализма, плетущаяся от слова к слову, от сих до сих, в меру заданного ей и с трудом осваиваемого овса»).

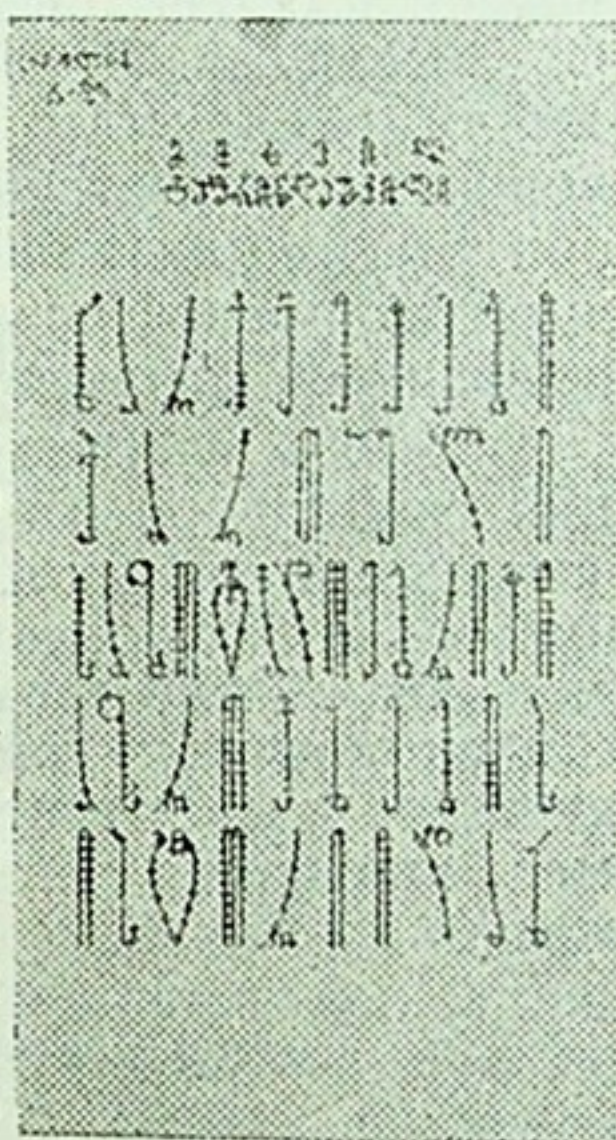
Об этих двух бичах переводческого искусства нельзя забывать ни на минуту, так как забвение любого из них сразу же сказывается на практике перевода, на стихах, на книгах!

Что же касается некоторых частных вопросов теории перевода, то трудно было, конечно, ожидать, чтобы одна дискуссия смогла бы окончательно разрешить все сложные и еще не достаточно разработанные проблемы «высокого искусства перевода». Но круг вопросов очерчен достаточно ясно, и редакция считает своим почетным долгом и впредь уделять постоянное внимание на страницах журнала проблемам теории и практики перевода — этого могучего средства взаимопознания и дальнейшего укрепления дружбы братских советских литератур.



## «ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ГРУЗИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ»

Государственное издательство «Сабчота Сакартвелო» выпустило на грузинском языке «Очерки по истории грузинской общественной мысли (60—70-е годы XIX века)». Эта книга является плодом многолетней научной работы М. Гаприндашвили и со-



держит три монографии: «Георгий Церетели», «Серги Месхи» и «Яков Гогешашвили».

Г. Церетели, С. Месхи и Я. Гогешашвили — выдающиеся общественные деятели, писатели и мыслители второй половины XIX века. Они сыграли крупную роль в истории грузинской общественной мысли. И, безусловно, прав автор книги, параллельно с жизнью и трудом названных деятелей рассматривающий с позиций марксизма-ленинизма также и развитие грузинской обществен-

ной мысли в целом. Располагая богатым и глубоко изученным материалом, М. Гаприндашвили сумел показать развитие грузинской общественной мысли до нового этапа в истории — распространения марксизма и начала массового рабочего движения. Он верно подчеркивает, что распространение марксизма, начавшееся в 90-х годах прошлого столетия, было не простым продолжением развития общественной мысли, а настоящим переворотом в этой области.

Несмотря на то, что по отдельным вопросам и периодам истории грузинской общественной мысли существует ряд трудов и монографий, изучение ее все еще находится в начальной стадии и требует совместных усилий историков, философов, филологов, экономистов и других специалистов. Это тем более необходимо, что прогрессивно-демократические течения в грузинской общественной мысли в значительной мере содействовали подготовке почвы для распространения марксизма в Грузии.

Уже давно назрела необходимость создания научно обоснованной истории грузинской общественной мысли. И хотя в этом направлении в настоящее время проводится значительная работа, сделанного еще не достаточно. Поэтому труд М. Гаприндашвили заслуживает особого одобрения.

Заслуга автора в том, что он, наряду с исследованием мировоззрения названных мыслителей, дает анализ общественно-социальной жизни пореформенной Грузии и на этой основе объясняет причины возникновения того или иного идеологического течения.

Нельзя не согласиться с М. Гап-

Михаил Гаприндашвили. «Очерки по истории грузинской общественной мысли (60—70-е годы XIX века)». Издательство «Сабчота Сакартвело», Тбилиси, 1959 г. На грузинском языке.

риндашвили, который развитие грузинской общественной мысли в 60 — 70-х годах прошлого столетия рассматривает в тесной и неразрывной связи с развитием русской общественной мысли того же периода. Более того, совершенно справедливо он указывает на то огромное влияние, которое оказывали на развитие грузинской общественной мысли передовые, демократически настроенные русские мыслители, в частности, великие русские революционеры-демократы Чернышевский, Добролюбов, Герцен и другие.

Автор «Очерков» правильно утверждает, что в Грузии, (как и в России) революционно-освободительное движение имело три этапа: дворянский (с 1832 года до 60-х годов); разночинно-демократический (до конца 90-х годов) и пролетарский.

Исследуя в основном второй период революционно-освободительного движения в Грузии, М. Гаприндашвили считает, что, являясь частью общерусского революционного освободительного движения, оно имеет и свои особенности. Освободительное движение в Грузии получило характер национально-освободительного движения. Его руководители (в том числе Г. Церетели, С. Месхи и Я. Гогешашвили) на первый план выдвигали вопросы не социального, а национального освобождения. Это национально-освободительное движение возглавили передовые представители молодого поколения, получившие образование в России. Их называли в Грузии шестидесятниками или «тергдалеули» («испившие воду Терека»). Среди них были: И. Чавчавадзе, А. Церетели, Г. Церетели, С. Месхи, Я. Гогешашвили, Н. Николадзе и др. Группа эта до 70-х годов была единой, хотя уже тогда в ней обозначались два течения — радикально-прогрессивное и умеренно-прогрессивное (определения принадлежат автору книги). К первому течению принадлежал Г. Церетели.

Сторонников прогрессивного направления М. Гаприндашвили называет «просветителями», а само направление — «грузинским просветительством». По его мнению, как

И. Чавчавадзе, А. Церетели и другие, так и Г. Церетели, С. Месхи, Я. Гогешашвили были «просветителями».

Шестидесятники (или «тергдалеули»), в том числе Г. Церетели, С. Месхи и Я. Гогешашвили, боролись против крепостного права и его последствий, в значительной мере отражая настроения крестьянства. Они выступали против дворян-либералов, фактически защищавших помещиков и царизм, но главным для них, как указывает М. Гаприндашвили, был национальный вопрос, борьба за национальное освобождение.

Из приведенных в книге материалов видно, что Г. Церетели, С. Месхи и Я. Гогешашвили не имели одинаковых взглядов по всем вопросам общественной жизни. Но они были едины в борьбе против крепостного права и за национальное освобождение грузинского народа.

В книге рассматривается эволюция социальной основы (и, соответственно, идейных течений), которая приводила к перемене позиций отдельных общественных деятелей. Однако автор не всегда точно и убедительно рисует этот процесс (например, эволюцию взглядов Г. Церетели).

\* \* \*

Книга М. Гаприндашвили не свободна от отдельных недостатков. В ней имеются и спорные положения. Мы, не имея возможности остановиться на всех, считаем необходимым указать на некоторые из них.

Автор «Очерков» называет группу «тергдалеули» «просветителями». Стало быть, он считает, что определение В. И. Лениным русского просветительства применимо и к ним. С этим мнением полностью нельзя согласиться. Такое же мнение раньше было высказано и другими авторами. Наша цель в настоящее время состоит не в том, чтобы полемизировать с автором и убедить его в противоположном. Но мы требуем от него больших доказательств, так как, по нашему мнению, он недостаточно аргументирует свое положение, считая его само собой разумеющимся.

Самыми выдающимися представителями русского просветительства были Н. Чернышевский и Н. Добролюбов, продолжавшие революционно-демократические традиции В. Белинского. В. И. Ленин видел характерные черты этих великих просветителей в резкой враждебности «к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области», в горячей защите «просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни», наконец, в отстаивании «интересов народных масс, главным образом крестьян...», в искренней вере в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искреннем желании содействовать этому». «Просветители, — писал В. И. Ленин, — не выделяли, как предмет своего особенного внимания, ни одного класса населения, говорили не только о народе вообще, но даже и о нации вообще». Эти черты нашли самое яркое и полное выражение во всей деятельности Чернышевского и Добролюбова.

В мировоззрении и действиях грузинских шестидесятников («тергдалеули»), в том числе и Г. Церетели, С. Месхи и Я. Гогешашвили, мы встречаем большое сходство с мировоззрением Чернышевского, Добролюбова и других. Однако знака равенства между ними поставить нельзя. Ведь русские «просветители», о которых говорил В. И. Ленин, думали осуществить свои идеалы революционным путем, путем восста-

ния народа, чего нельзя сказать о грузинских шестидесятниках. Поэтому, думается, и нельзя называть их «просветителями».

Утверждение М. Гаприндашвили о том, что Чернышевский и другие великие революционеры-демократы имели большое влияние на передовую грузинскую интеллигенцию, бесспорно. Г. Церетели, С. Месхи, Я. Гогешашвили и другие действительно являлись последователями Чернышевского, но ни один из них не мог и не поднялся до уровня своего учителя. Вот почему, повторяем, не следует называть их «просветителями» в том смысле, в каком это понимал В. И. Ленин.

Автор, объединивший в одной книге три отдельных монографии, обязан был предпослать ей предисловие и сделать в конце книги общий вывод. В этом предисловии следовало указать на то общее, что объединяло этих трех деятелей, а также отметить расхождения между ними.

В книге имеются отдельные неточные формулировки. Очень коротко говорится в ней о трудах других исследователей в области истории грузинской общественной мысли. Напрасно в каждой монографии повторяется обзор социально-экономической и общественной жизни второй половины XIX века.

И все же, несмотря на указанные недостатки и спорность некоторых положений, книга М. Гаприндашвили является значительным вкладом в разработку истории грузинской общественной мысли. Его работа заслуживает положительной оценки.

С. ЧХАРТИШВИЛИ



Технический редактор **М. Соселия**

Подписано к печати 26 сентября 1960 г. 6 печ. листов

Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.

Тираж 2.500

Заказ № 812

УЭ 0153

Цена 4 руб.

ჟურნალი „ლიტერატურნაია გრუზია“  
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის გამომცემლობა „ხარია ვოსტოკა“

---

Типография «Заря Востока» им. А. Ф. Мясникова издательства  
ЦК КП Грузии, Тбилиси, пр. Руставели, № 42.

გვ. 6/52